

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1979

4

მარბოს, მამოცხრება, უფრო უფრო, ღმრ. მარბნი,
 უნებ მუშაობს აუცილებელი მის უმარბნი!
 უარბნი, უარბნი, უარბნი უარბნი უარბნი,
 ზ ბოგარ უარბნი უარბნი უარბნი, უარბნი უარბნი!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ИЗВЕСТИЯ»

Чиладзе Т. «Дворец Посейдона». Рассказы. Повести. Роман. Пер. с груз. А. Беставашвили. М., 1978. 698 с. 200.000 экз. 2 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Зсидзе Ш. «Батумский дождь». Стихи. Пер. с груз. Ю. Хазанова. М., 1979. 94 с. 10.000 экз. 30 к.

Цховребов И. «Башни». Стихи. Пер. с осет. В. Цыбина. М., 1979. 118 с. 10.000 экз. 35 к.

«ХЕЛОВНЕБА»

Амирэджиби Н. «На заре грузинского кино». Тбилиси, 1978. 149 с. С ил. 5.000 экз. 1 р. 50 к.

Шаншиашвили С. «Иракий Второй». Сборник пьес. Пер. с груз. Э. Ананиашвили. Тбилиси. 1978. 356 с. 5.000 экз. 1 р. 10 к.

«МЕРАНИ»

Митин Г. «Сняпления». Литературно-критические этюды. Тбилиси. 1978. 388 с. 3.000 экз. 75 к.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Доброго пути, друзья! 3

ПОЭЗИЯ

ДАЛИЛА БЕДИАНИДЗЕ. Стихи. Перевод Натальи Генной 6

ТЕДО БЕКИШВИЛИ. Стихи. Перевод Натальи Генной 10

ПРОЗА

ДЖЕМАЛ ТОПУРИДЗЕ. Диоскурия — город, затопленный морем. Рассказ. Перевод Тенгиза Квачадзе 16

МАКА ДЖОХАДЗЕ. Рассказы. Перевод Виктора Хеладзе 40

ЛАША ТАБУКАШВИЛИ. Прощайте, сударыня! Теранг. Рассказы. Перевод З. Дарсавелидзе и Г. Бендукидзе 48

МИХО МОРЧИЛАДЗЕ. Начало. Повесть. Перевод Динары Кондахсазовой 62

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ГУРАМ АСАТИАНИ. Мир входящим! Перевод Ананды Беставашвили 88

ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. Трудный жанр 106

РЕЦЕНЗИИ

ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. Самые добрые пожелания 112

ЮВАН ШЕСТАЛОВ. «Поезд Грузия—Сибирь» 114

4

1979

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ



ГЕОРГИЙ ГАБУНИЯ. Из летописи переписки с
Л. Толстым 119

ОЧЕРК

ЛУАРСАБ ЕГОРОВ. Директор 124

ИСКУССТВО

НАНА КАВТАРАДЗЕ. Играет Важа Чачава . . . 129

ВЛАДИМИР ЗАРИДЗЕ. Щедрость таланта . . 135

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ЗОЯ МАСЛЕНИКОВА. Портрет поэта 137

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» . . . 155

ХРОНИКА 158

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

ДОБРОГО ПУТИ, ДРУЗЬЯ!

VII Всесоюзное совещание молодых писателей, прошедшее в марте в Москве, было одним из самых представительных и значительных литературных форумов. Все участники этого совещания — и молодежь, и руководившие семинарами писатели старшего поколения сполна сумели оценить всю значимость такого мероприятия.

115-239
Наши писательские ряды постоянно полнятся молодыми литературными силами. И смотр этих сил в одинаковой степени необходим и начинающим, которые на этом этапе своего творчества очень остро нуждаются в поддержке, серьезной деловой консультации, чутком руководстве тех, кто уже овладел определенным литературным опытом, и в той же степени представителям старшего поколения, получившим возможность лучше узнать литературное пополнение, следующее за ним.

Прошло два с половиной года после известного постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». За это время при Союзе писателей Грузии создано республиканское объединение молодых писателей.

Уже много лет в Грузии спланивают вокруг себя талантливую молодежь журнал «Дискари» со своим приложением «Нобати», альманах для начинающих литераторов «Пирвели схиვი», а также молодежные газеты. Они сполна предоставляют литературной смене возможность выявить свои творческие данные.

Широкое участие молодых писателей в симпозиумах, дискуссиях за «круглым столом», проходивших в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Вильнюсе, Риге, Ереване, помогает их самоутверждению, выявлению взглядов, принципов, служит расширению кругозора.

Вечера поэзии молодых, разборы первых книг в клубе нашего Союза писателей стали уже доброй традицией. В такие дни зал клуба не вмещает всех желающих.

И подчас еще несмелые, не очень точно сформулированные суждения, высказанные здесь молодыми писателями, открывают для нас очень интересные аспекты их отношения к важнейшим жизненным проблемам. Они много ездят, много видят, бывают на заводах, фабриках, колхозных полях, животно-

ქ. შარვაშიძის სს. სს. სს.
საბჭოთაო კავშირის
კავშირის

водческих фермах, в научных лабораториях, и эти встречи в до-рогах, которые пролегают по всей нашей необъятной стране, от Ногайских пастбищ и Ингури до Байкало-Амурской магистрали, не могут не стимулировать большой творческой одачи, рождения новых интересных произведений.

Разве не показательно, что в нынешнем году в Союз писателей Грузии было принято сразу пятнадцать молодых литераторов — факт небывалый. С чем же приходит в литературу эта молодая смена? Истинный современный писатель немислим без подлинного знания жизни, без постановки крупных, масштабных проблем, без заботы о том, как связать свой труд с интересами общества.

Естественно, их творчеству присущи те извечные категории, на основе которых выросли и воспитаны все предыдущие поколения, — сила разума и страсть, вера и любовь, большое человеческое тепло и поиск первооткрывателей.

Но поэтический мир художника тогда лишь отвечает поэтическим идеалам читателя, когда его творчество произрастает из глубин родной земли, накрепко переплетя в ней свои корни.

Нашему сегодня с его напряженным ритмом, открытиями, острейшими альтернативами необходима молодая литература, которая полна страстной любви и света и со всей мерой ответственности осознающая свой долг перед народом. Их слово уже неустанно трудится, продолжая великие традиции Руставели во имя новых побед на наших нынешних фронтах строительства коммунистического общества.

И с радостью хочется отметить, что наша творческая молодежь стоит на уровне самых высоких нравственных принципов.

На VII Всесоюзном совещании молодых литераторов нашу республику представляли Автандил Чхиквишвили, Бадри Чохонелидзе, Лаша Табукашвили, Энвер Нижарадзе, Рушбей Смыр (Абхазия), Багатер Арабули, Давид Тевдорадзе (Аджария), Тамаз Бадзагуа.

Все они принесли на суд старших коллег по писательскому цеху свои произведения.

Этот номер «Литературной Грузии» подготовлен в преддверии совещания и посвящен молодым.

Доброго пути, друзья!

Джансуг ЧАРКВИАНИ



საქართველოს
საბავშვო ლიტერატურის
ცენტრი

Далила БЕДИАНИДЗЕ

Главное достоинство стихов Далилы Бедианидзе, на мой взгляд, искренность и простота. В стихотворении «Есть ли у вас телевизор?» особенно ярко вырисовался образ поэта, сердце которого полнится большой человеческой любовью и который всюду ищет похожее на себя существо — беспредельно доброе и мечтательное. Улицу, на которой она должна встретиться с незнакомым другом, она называет улицей «надежды». А ведь истинное назначение поэзии в том, чтоб вселять в человека веру, надежду, дать ему возможность почувствовать себя сопричастным красоте и радости.

Определенная часть наших молодых поэтов перестала обращаться к традиционной форме стиха. Далила Бедианидзе в их числе. В одном из стихотворений, которое в какой-то мере можно считать программным, она прямо говорит:

Освобождаю рифмы, распы-
тые на четверостишиях,
ритмы — из неволи строки
— освобождаю...

Довольно-таки смелое заявление. Я не буду перечислять всех тех условий, которых взамен этих «реформ» требует природа свободного стиха. Разрушение канонов и рождение новых правил в искусстве можно оправдать только тогда, когда этот канон (в данном случае богатейший классический стих) предельно освоен нами. Сомнительно, чтоб большинство из тех поэтов, кто сегодня так настоятельно проповедует так называемый



верлибр, творчески уже «переварил» в себе традиции многовековой грузинской поэзии.

В этом смысле Далиле Бедианидзе есть над чем поразмыслить. Однако я хочу подчеркнуть, что некоторые ее стихи уже говорят нам о том, что она обретет это заветное право.

В одном из своих стихотворений Далила Бедианидзе зовет озябшего человека погреться у зажженного костра, называемого ею любовью и освещенного ее сердцем. И было бы хорошо, чтоб костер этот не только согревал людей, но ярким, негасимым огнем освещал труднейший путь к миру прекрасного.

Эмзар КВИТАИШВИЛИ

ГРУЗИИ



Ты выходишь из саркофага окаменевших лет,
время — твой археолог.
Ты покидаешь хранимые храмами фрески,
их водяные, легкие краски,
ты покидаешь сказания, сказки и древнюю тайнопись,
ты выходишь — из всех уголков прошлого —
в новый Тбилиси.

Под землю и на земле этой — здесь,
где расслышана жизнь и узнана, —
всюду в Грузии Грузия есть —
в сотни раз больше, чем Грузия.
Глазами твоими глядит на меня
мальчик, раскрывший учебник истории.
Глазами твоими глядит на меня
женщина, что провожает мальчика в школу.
Все детство земли, все ее материнство
глядит на меня твоими глазами.

И поле, и небо, и солнце, и город —
сотни родин —
глядят на меня глазами твоими,
и я догадываюсь — во имя
чего — этот взгляд ко мне обращен.
Я знаю: ты — слово, что слова трудней,
и дело — труднее дела.

Ты родина в родине — близкой — моей —
далекой — лишенной предела.

Под землю и на земле этой — здесь,
где расслышана жизнь и узнана, —
всюду в Грузии Грузия есть —
в сотни раз больше, чем Грузия.

КАМЕНЬ

День рождения.

О, города каменная хватка!

Меж цветами и травами,
застывшими на открытках и гобеленах,
привычно и тихо живет взляду.

В окаменевших растениях
мне видятся камни, ставшие растениями.
Окаменевшие брызги морской волны
слышатся под ногой, ступившей на берег.

Окаменевшее небо над городом тяжелеет
и накрывает его как шапка.

Окаменевший дождь — в воздушном платье девочки —
играет в салочки во дворе...

Еще в незапамятные времена
по городу разбрелись стада — морозные ветры, —
чтобы исчезли и травы, и листья.

Мои родители,

оставив город, отправились туда,
где весной расцветают вишни,
где на теплой траве потягивается июльское утро...
Все недосуг мне было собраться в дорогу.
Теперь же, когда я готова к отъезду,
билета на поезд все нет.
Пока я его раздобуду,
глубоким и долгим будет мой сон на вокзальных камнях.

Я тоже камень, среди обломков — обломок.
Усилим рук
каждой новой даты рождения
разрушается города каменная плита.
Не прерывается грохот отбойного молотка — работа —
начало начал
(туман — это пыль, что клубится над каменоломней).
Как тихо тому,
кто покидает город...

Камни, вросшие в камни, —
вот мои корни.
Поезд придет, чтоб движением их рассечь.
И — застучат по каменному перрону
слезы, каменные и чужие, —
звук одинокий вырастет в тишине.
Надежда: если бы поезд мой опоздал...
Но расписание помнит о нем, диктует движение.
Камень, живой и тяжелый,
лежит на рельсах,
камень простой — надежда.

ОДИНОЧЕСТВО

Нас лестница ведет — ведет раздумье.
Приказ ключа — и дверь отворена.
Восьмой этаж. Пещера, не иначе.
Пусть отдохнет на лестнице пальто,
а свет оближет комнату. И так —
за стол мы сели: ожидает нас
хлеб одиночества, размокший и соленый.
Год к году — к пыли пыль. Зерно земли
освободить — вот цели постоянство.
Когда же мы, труды свои оставив,
танцуем танго, к нам издали
уже приходит музыка иная...
Все ближе смерти жест и все яснее.
Огонь сгорает в собственном огне.
Что память? — пыльной комнаты пространство,
где музыка пройдет влажной тряпкой
по всем углам... А мысли так горбаты,
что выпрямят их только ритмы танца.
Вокруг себя — движением коленей —
мы очертили круг, и день за днем
он стягивается — все уже, уже...

Сосед, что так прекрасно обитает
вне круга этого, итоги подведет,
посмеиваясь: «Если к единице
прибавить единицу, выйдет — два».
Сынок его — младенец дальновидный —
к хрустальной пепельнице тянет руки.
Пушкой бранится мать, зато отец
доволен сыном и его стремленьем
познать предметов незнакомых суть.
Познание — начало накопленья:
младенец разобьет хрусталь, чтоб завтра
свой быт украсить пепельницей новой.
«Мой сын, замечу, — копия моя»
(родительская голова спокойна в шапке).
И сын растет, а в нем растут: мужчина,
фамилия, отец и аппетит.
Недолго сердцу затянуться пылью,
как глазу светофора, что не видит
дороги, проходящей перед ним.
К себе мы возвращаемся — встречает
нас друг надежный, омывает раны
водою соболезнованья темной
и детям повествует: «Жил да был...».
И снова — шупальцами телефонов
и телевизоров — цепляемся прилежно
за хвост бегущей жизни—

мы, чья пища —
хлеб одиночества, размокший и соленый.
Раздумья — за ступенями ступени—
ведут нас по утрам, привычны ноги
к беседе с этой лестницей высокой.
Приказ ключа — и дверь затворена.
А вечерами головой об стену
привычно бьется волчий вой протяжный —
цивилизованный, голодный вой.
Услышат за стеной — и рассмеются.
Но девочка по лестнице идет
в коротком детском платье обмана,
с ногами правды длинными.

«Откройте! —
она кричит перед глухою дверью
квартиры пыльной. — Есть ли кто-нибудь?
Откройте же!

Сама откройся, дверь!»

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ТЕЛЕВИЗОР?

Есть ли у вас телевизор?
Если нет — прошу вас — купите скорее,
чтобы из вечера в вечер
в программе «Время»
сбываться нашим недолгим встречам,
чтобы нам знать
о дождях, что пройдут в городах друг у друга,



ՅԵՄԻՅԱՆԻ
ՆՈՒՅԵՆՆԵՐ

о солнечных днях.

Есть ли у вас та книга,

что ожидает чтения

у меня в руках?

Раскройте ее на двадцатой странице,
чтобы сбылась наша встреча в каком-нибудь слове
(может случится, мы встретимся в «никогда»).

Есть ли в далеком городе вашем
улица, названная — Надеждой?

Приходите — прошу вас! — завтра, в пять пополудни,
на эту улицу с претенциозным названием, —
чтобы сбылась наша встреча.

В субботу,

вечером поздним,

по окончании всех передач,

взгляните в ослепший,

единственный глаз моей ночи,

чтобы сбылась наша встреча.

Есть ли у вас телевизор?

Если нет — прошу вас! — купите скорее.

* * *

Освобождаю рифмы, распяты на четверостишиях,
ритмы — из неволи строки — освобождаю.

Освобождаю жизнь, заключенную в песни:

полет голубей,

шаги людей — к любви и смерти,

голоса детей, матерей...

Освобождаю от власти художника, от покорности кисти —
дыхание волн,

кружение листьев,

изгибы деревьев,

движение ветра,

краски портретов и древних фресок...

Улыбку Джоконды освобождаю.

Ночь — день — час — век —

время освобождаю от времени.

Освобождаю —

глазам говорю, застывшим на фотоснимках,

неподвижным губам и рукам.

Пусть цветы и олени покинут ковры и гобелены,
наполнив лес, освобожденный от рамок пейзажа.

Всех,

кто любит меня и кто ненавидит,

всех, кто меня не знает,

все, что мне виделось, видится нынче или увидится впредь, —
освобождаю.

Освобождаю улицы, стены, крыши, краски, клавиши,

карандаши—

и все предметы вокруг.

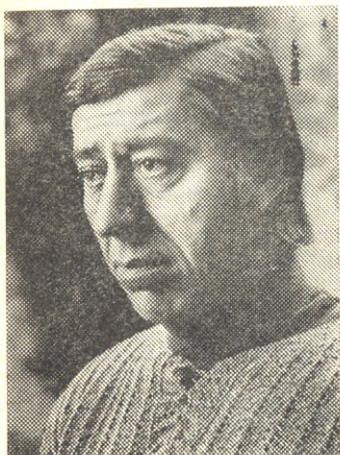
Освобождаю праздником тело

и душу саму —

освобождаю.

Перевод Натальи ГЕНИНОЙ

Тедо БЕКИШВИЛИ



Размышления — о Времени, прошлом и будущем; заботы — связанные прежде всего с судьбой родной страны и родного народа; патриотизм — истинный, не напыщенный урапатриотизм, гуманизм — нередко обобщенный, но не исключающий тихой, беспретенциозной боли за человека; поэтический мир — щедрый, богатый грузинской дей-

ствительностью; средства изображения — не яркие и красочные, а умеренные, сдержанные, освещенные светом сердца; техническая оснащенность — наравне с классическими ритмическими стихами; стихи подлинно современные; голос — спокойный; интонация — искренняя, исключая поверхностную риторику и помпезность... В общих чертах так можно охарактеризовать поэзию Тедо Бекишвили.

В какой степени мое определение поэзии грузинского поэта будет соответствовать впечатлению, полученному русским читателем от переводов, мне трудно судить. Но, зная достоинство оригинала, я всей душой приветствую эту публикацию, рад за моего младшего друга, вошедшего в пору зрелости. Для меня не существует понятия — плохой поэт и хороший поэт. Я считаю такое разделение бессмысленным, нелогичным. Незвизирая ни на какие масштабы, существует для меня поэт или же стихоплет.

С полной убежденностью могу сказать: Тедо Бекишвили — поэт.

Мурман ЛЕБАНИДЗЕ

ОТЧИЗНА

С чем тебя мне сравнить?
Ничто ни с чем не сравнимо.

Слово одно,
единственное,
что может вместить твою суть, —
чудо!

Но и оно — это слово — давно износилось в рубище...

Стою —
 смотрю,
 как облако плывет,
 течением
 относит
 солнца круг,
 и тень
 перемещается,
 живет.
 Дождем наполнен,
 уплывает луг.
 И день такой,
 такая благодать,
 и краски так прекрасны и щедры,
 что — боже! —
 дай мне вечно простоять,
 храня теченья тихие труды...

* * *

Живи, мое сердце, забудь
 отчаянья голос глухой:
 пройденный виден путь —
 снежный и ледяной...

Что же надежды простор
 стал для тебя далек?
 В пещере, в сумраке гор,
 затеплится огонек...

Снова могучий звон
 заполонит мой слух;
 снова в далекий сон
 веровать станет дух.

Музыка в небесах —
 родина света... Вновь —
 крыльев тяжелый взмах —
 счастье, простор, любовь...

Живи, мое сердце, забудь
 отчаянья голос глухой:
 пройденный виден путь,
 снежный и ледяной...

АИСТЫ

(Литовскому поэту Алвонсасу Буконтасу)

Летят, небеса повторяя,
 белые аисты над горами...
 Брат мой, восходит высокое пламя:
 мы живы — этим огнем играя.

Ты слышишь — все ближе дыхание лета,
мои раздумья уносят птицы
на север, к тебе — отвернулось от неба
немое ружье — и дорога длится.



Знаю — вечная эта стая
будет лететь и лететь над землей,
Грузии небо — предместье мая —
открыто полетам — и нам с тобою.

Люблю твоих аистов. Над горами —
дороги добра, и время — без края...
Брат мой, восходит высокое пламя:
мы живы — этим огнем играя.

ФРАГМЕНТ

Юность звучит далеко и тревожно...
Слух напряжен,
и — запеть невозможно.

Воспоминанье мое дорогое —
луч, отраженный в зеркальном покое.

Горек простор, и расколот, и тесен,
нет ни вины, ни смятенья, ни песен.

Шаг — одинокий, неровный и вязкий...
Живы апреля погибшие краски,

снова люблю я,
но где моя радость?
Ветер унес, в небесах затерялась...

НАЧАЛО ЗИМЫ

Снегопад.
Пространства стали тесны.

Высокий сугроб на окраине сада —
дряхлое дерево,
долготерпеньем скованное и покоем.
Так стоит оно,
будто бы хочет меня наделить
душой неподвижной и тихой:
уже на пороге те дни,
когда никто на меня не посмотрит с любовью,
когда и мне предназначенный взгляд
будет исполнен жалости —
только жалости...

Снег идет...

Тише — в кустарнике цепком какая-то птица
 вдруг встрепенулась испуганно — и застыла...
 Там, по другую сторону густеющих сумерек,
 замерли ее маленькие крылья.

Неужели это было наше детство?

Тише — не дайте ему исчезнуть...

Слишком резко
 на наших лицах себя обозначило время —
 заметив нас,
 птица взвевается, канет в поднебесье —
 и звонкие, разноцветные рощи юности
 перестанут звучать,
 в них поселится безмолвие.

Тише — в кустарнике цепком какая-то птица
 вдруг встрепенулась испуганно — и застыла...

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОСТЬ

И — слух покоряется внятному звуку:
 на лестнице слышатся чьи-то шаги...

И входит мой гость, подавая мне руку.

В движении быстром тени легки.

Он рядом садится. Строй речи знакомый
 змеится — и взгляд морозный остер,
 Старинного повествованья изломы...
 Истории странный и ветхий простор —

мол, все это было и было когда-то,
 любая душа пребывала в цене...

Приход незнакомца еще не разгадан,
 и страх осторожно крадется ко мне.

Окончен рассказ. Тишина вырастает
 внезапно и резко, и дым невесом.
 Я гостью стакан подаю — возвращает,
 вздыхая — в ответ усмехается он.

Вот — все, что я гостью могу предложить...

Напрасно на чью-то надеяться помощь —
 все спят. За спиною оставлена полночь.

И надо своей нищетой дорожить.

Но блеск этот резкий, тяжелый и сытый —
 металла гора, восходящий пожар...
 Так вот где разгадка ночного визита!
 А совесть? — А совесть — прекрасный товар.

Отказ на губах застывает — немею
 под взглядом насмешливым и ледяным.
 Я громко кричу — я кричать не умею...
 И глух незнакомец, как ночь перед ним.

ДОЖДЬ



И — хлынул дождь.
Прохладен бег воды —
встревоженной, по гладкому асфальту.
Как тысячи пугливых быстрых зайцев,
проникших в город, — струи дождевые
пустились наугад, пути не зная, —
вперед, к тюрьме, к решеткам водостока.
— Остановись! — дождю вослед тянулись
сухие корни медленных деревьев.

Потеряна дорога. Я спешил,
я шел к тебе, как этот дождь неожиданный,
дождь городской, землю обделенный,
имеющий лишь небо. Я не смог
сквозь равнодушия покров тяжелый
к земле пробиться и перевести
дыхание, натруженное бегом...

Прощай. О, если б знала ты — какой
тоской мою любовь ты одарила!

Ночное небо ветрено, безлюдно...
Ну, что ж, для нас с тобой миры степные,
где звезд теснятся яркие соцветья,
не станут ближе. А вины моей —
не искупить... Срывается поток —
в темницу водостока, будто в пропасть.

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА

Где привычно затворничать мыслям моим —
в этом царстве, где сам я себе господин,
занимается пляска — сверкают клинки.
Все смелее огня замыкается круг,
все большее и резче мне кажется звук.
И прохладно сверкают и пляшут клинки,
и свинцовые пули, как ветер, легки.
Где неволя моя — и свобода моя,
где я сам осужденный — и сам же судья,
где я верный судья и его господин,
где привычно затворничать мыслям моим, —
непокорна тоски ледяная река,
никому не заметна, светла и горька.
Ей никто преградить не сумеет пути:
позади остается — и ждет впереди...
Где привычно затворничать мыслям моим —
в этом царстве, где сам я себе господин,
ослепительны пляшущие клинки
и свинцовые пули, как ветер, легки.

ОЖИДАЯ ТЕБЯ

Напрасными оказались
прикосновения надежды,
напрасными оказались ночи,
когда я забывал о сне,
ожидаю тебя, весна, —
а встречи с январской студеной дорогой,
с распутицей марта
были и вовсе напрасны...

На неминуемый праздник
твоих именин
я пришел в одиночестве —
радость моя неделима —
и я молчу, мне некому сказать:
— Взгляни на эти поля,
разноцветные и молодые...

* * *

Глухая дверь, открытая нами,
была отворенной.
Без края ночь — суеты покой —
день со днем сплетенный.
Сгорают мгновенье, но в легком пепле
живет начало...
А наше сокровище — вовсе не нам
принадлежало.
Дороги, что кем-то разучены были,
легли бездорожьем,
но — вязкого шага нет легче и тверже,
нет песни дороже.
Смотрите: по склону вниз уходящий
достигнет вершины.
Вниз или вверх — мы в гуле слепящем
одно свершили:
рушатся звонко хрустальные башни...
Но вечно виденье —
спасительно долготерпенье наше
и примиренье.

Перевод Натальи ГЕНИНОЙ



Поколение, пришедшее в грузинскую литературу в 70-е годы, невозможно понять и оценить вне творчества Джемала Топуридзе. К сожалению, голос его безвременно прервался, но он все же успел нам сказать то, что хотел.

За два дня до гибели Джемал Топуридзе принес в редакцию «Цискари» рукопись рассказа, с героем которого у него было много общего и в характере и в натуре, и в биографии, и трагическую участь которого разделил он сам.

Герой этого рассказа Темур «...валялся на снегу, и на снегу была кровь».

...По дороге в больницу он умер, прислонив голову к плечу неизвестного человека.

— Холодно, — сказал он перед смертью.

Земля была одета в белую окровавленную рубаху».

Разница в незначительной детали — автор рассказа «Диоскурия — город, затопленный морем» погиб в дождливый день.

Сейчас, когда свершилось предначертание судьбы, мне кажется, что вся жизнь Джемала Топуридзе, не достигшего и тридцати лет, была отмечена печатью обреченности. Словно чувствуя свою недолговечность, он спешил раздарить людям ту бескрайнюю любовь, которая переполняла его сердце.

ДИОСКУРИЯ — ГОРОД,

Домой он вернулся поздно. Был он пьян. Худое лицо его было бледным. Он нагнулся над кроватью матери — поцеловал ее в лоб.

— Ты-то знаешь, каково тебе будет завтра, — сказала мать.

Он вышел в свою комнату, разделся и лег. Под одеялом ему стало жарко. Он его скинул. Потом его обеспокоил свет, который проникал сквозь ставни. Он повернулся спиной к свету и вскоре уснул. Дышал он глубоко. Мать поднялась с по-

Э. М. 19369221
Э. М. 19369221

Внешне он мог показаться слабым и беспомощным, но в действительности был сильным и гордым. Это хорошо знают его ровесники, с которыми он дружил до самопожертвования верно. Это знаем и мы, кто с родительской любовью следили за жизнью молодого писателя, подающего большие надежды. Это поймет каждый, кто прочтет его рассказы.

Джемал Топуридзе никогда не спешил печатать свои произведения. Поэтому он опубликовал всего несколько рассказов. Каждый его рассказ, уже опубликованный или только подготовленный к печати, пронизан глубочайшим сочувствием и любовью к обиженным судьбой людям. Это главная тема небольшого, но полного эмоционального напряжения творческого наследия Джемала Топуридзе.

У героев Джемала Топуридзе по разным причинам ломается жизнь. Одним ломает жизнь война («Нуцико Эмхвари», «Рождение»), другим — несчастье, обрушившееся по воле судьбы («Лексо», «Мечта Тэдо»), некоторым — людская злоба, безжалостность, неразумие («Гогия», «Диоскурия — город, затопленный морем»), еще кому-то — казалось бы, невидимые, но доступные глазу писателя грубость и равнодушие («Одинокий»). Для истинного писателя человеческая боль, чем бы ни была она вызвана, какого бы масштаба ни была, невыносима. И Джемал Топуридзе глубоко переживал каждую неудавшуюся человеческую жизнь. Благородная душа его видна не только в любви к своим героям, но и в ненависти к тем, которые были глухи к чужим печалям либо приносили несчастье и зло окружающим.

Джемал Топуридзе, как и его герой Темури, прожил мало, но достойно, честно, чисто, он жил во имя того, чтобы вокруг побеждали любовь и тепло души.

Гурам ГВЕРДЦТЕЛИ

115.239

ЗАТОПЛЕННЫЙ МОРЕМ

стели и взгляделась в белое лицо сына. Пощупала пульс. Слегка приоткрыла окно и укутала сына одеялом.

Я просыпаюсь утром с дикой головной болью. В горле сухость необыкновенная. Через несколько мгновений сердце начинает учащенно биться.... Но я привык к этому... хотя... да нет, не привык.

Окно, должно быть, открыла мама. Мне холодно, но боюсь подойти к открытому окну. Марину это смешит. Ничего смешного не вижу, но Марине смешно.

1. 2021/01/15 14:14:14

Я смотрю на игрушечного льва. Тому уже целый год, как он лежит в углу. Его голова слегка наклонена набок и вниз. Он грустен, игрушечный лев.

Мальчик уже год здесь не живет. Постель моего сына пуста. Наполовину пуста и моя двуспальная кровать. Она, эта постель, кажется мне рассеченным, разрубленным надвое человеком. Все началось с моего отца, впрочем, нет, с того человека, с лицом Мефистофеля. Он звался моим дедом. Почему, собственно, все полагают, что бабушки и дедушки нечто несравненное, божественное?

— Темури! — зовет меня кто-то. Знаю — это мне мерещится. Знаю, и потому как знаю, значит, я не спятил. Так бывает всегда с похмелья. Я говорю маме, чтобы она закрыла окно. Поднимаюсь с постели и выглядываю.

Мама говорит, что вчера звонила Котикина Лали и Котику очень скверно. Лали, видно, ужасно хочется, чтобы я видел, как умирает Котик. Я не был у него именно вчера.

— Отстань! — кричу я.

— Ну нет, ты в самом деле сумасшедший!

— Вы меня свели с ума, вы все! — я начинаю орать.

Мама уходит к себе. Я дрожу всем телом. Сажусь на кровать. Ноги так и прыгают по полу. Унять дрожь невозможно. Обеими руками изо всех сил сжимаю колени. Через некоторое время ноги успокаиваются. Я одеваюсь, выхожу в кухню, пью сердечные капли и, не глядя на мать, возвращаюсь к себе в комнату.

«Темури!» — зовет меня кто-то. Выглядываю в окно. Никого.

Теперь необходимо выйти из дому, здесь станет хуже, оставаться здесь нельзя. Страшно.

Мама протягивает мне таблетку седуксена и говорит, что уезжает в двухдневную командировку.

— Я на тебя накричал, прости.

— Главное, не убивай себя, остальное неважно.

— Сколько осталось Котику?

— Бог весть.

— Неделя, верно? — Я смотрю в окно и думаю, как бы не упасть на улице. Мама угадывает мои мысли.

— Не бойся, не упадешь.

— Нет?

— Нет. Сейчас ты почти здоров.

Я падал дважды. Шел по улице и говорил самому себе: «Вот сейчас упадешь, упадешь сейчас». Внезапно все вокруг побелело, и я упал.

Мама поднимает шторы.

— Ты открыла окно, да, мама?

— Да, воздух тяжелый.

Мне все чудится — выпрыгну. Не хочу кончать жизнь самоубийством и не могу подходить к открытому окну. Как-то неведомая сила вышвырнет меня наверняка. Быть может, даже этот старик, с лицом Мефистофеля. Возможно, хотя он и мертв, а все же. Мертвые меня преследуют.

Старик подхватил пятилетнего мальчугана на руки. Молодая женщина прижалась к стене. Старик посмотрел на женщину. Она смотрела на сына. Мальчик догадывался, что мать ужасно чего-то боялась. Мальчик плакал. Старик змеей приставился на женщину. Она все тесней прижималась к стене, словно хотела проломить ее спиной. Проломится стена, и погребут камни молодую женщину, и она ничего уже не сумеет увидеть. Она хотела умереть в ту минуту и все тесней прижималась к стене.

— Оставишь моего сына — и его не увидишь больше, — говорил старик перепуганной насмерть женщине.

Ребенок плакал, он весь покраснел; у него были рыжие волосы.

Старик с ребенком на руках подошел к окну. Ребенок вопил. Старик посмотрел на женщину:

— Выброшу!

Женщина упала на пол.

Ночью ребенок кричал во сне. Мать не спала. Да и какая сила могла заставить ее заснуть?! Она должна была встать спозаранку и бежать из этого дома куда глаза глядят. Затеряться. Исчезнуть. Здесь нельзя было оставаться больше. Страх гнал ее, страх за сына, которого свекор грозился убить.

Мама снимает с моей постели простыню.

— Сколько раз тебе говорить, я сам уберу свою постель. — Я отбираю у нее простыню и смотрю поверх нее в зеркало.

Отец возвращался с моря вместе с трехлетним Темуром. Он крепко держал ребенка за маленькую белую руку. Отец был мужчина среднего роста. У него были синие глаза, очень синие, цвета моря. Темур походил на отца, как две капли воды. Отца тоже звали Темуром.

— А мама будет дома? — спросил мальчик.

— Да, Темурик, — ответил отец.

— Есть хочется.

— И мне хочется есть. Мама накормит. — Мужчина улыбнулся, подхватил ребенка на руки и прибавил шаг.

Все трое сидели за столом.

— Темур, к тебе приходили двое каких-то мужчин.

— Кто такие?

— Не знаю я их. Впервые видела. Говорят, твои сотрудники.

— Со строительства?

— Не знаю, не сказали.

— И чего они хотели?

— Придем, сказали, еще.

— Кто это, интересно?.. — сказал мужчина и задумался.

— Ешь, остынет.

Мужчина продолжал есть горячий суп.

— Кто это мог быть?..

Они пришли вечером. Один из них показал удостоверение личности.

— Что вам угодно? — спросил хозяин.

— Вы должны пойти с нами.

— В чем дело?

— Вы приняли на работу человека, находящегося под следствием.

— Я никого не принимал.

— Здесь неуместно говорить об этом.

— Мне надо на стройку, — солгал муж.

— Это они?

— Да, да, я, возможно... не пугайтесь...

Мать с сыном стояли в дверях квартиры и смотрели, как отец выходил со двора. Он вернулся через два дня. Ни на кого не взглянул, словно в комнате никого и не было. Даже на сына не посмотрел. Оказалось, его заместитель принял на стройку какого-то «власовца». Темура Ильича допросили. Потом отпустили, однако освободили от работы.

— Я должен был знать, — сказал он.

— О чем? — спросил мальчик и вскарабкался к отцу на колени.

— Обо всем.

Мужчина лег и повернулся лицом к стене. Неделью он не говорил ни слова. Через неделю он встал. Немного поел. Однако молчал по-прежнему.

Время шло, а он все молчал.

Позвали врача. Врач был седой мужчина с чистыми на редкость руками. Синие вены отчетливо виднелись на руках. Двух мужчин оставили в комнате наедине. Врач пробыл долго. Он что-то говорил, потом выписал лекарства и ушел.

— Не оставляйте его одного, — сказал он женщине перед уходом.

— Это пройдет, доктор? — спросила она.

— Пройдет, — сказал врач, как говорил тысячи раз только лишь затем, чтобы как-то успокоить, но сам уже не замечал, что свое «пройдет» он говорил в последнее время, как говорят «здравствуйте», «потому», «так», «до свидания».

— Разве? — недоверчиво спросил старик.

— Ребенок? — вопросом на вопрос ответил врач, увидев мальчика, который притаился в комнату. — Ваш ребенок?

— Да, — ответила женщина.

Врач некоторое время смотрел на ребенка.

— Его тоже не надо оставлять одного, — сказал он по-госдя. — До свидания.

Целый год в доме была тишина. Разве что маленький мальчик нарушал ее, но и его заставляли замолчать. В некогда полный гостей, ярко освещенный дом теперь приходил один только врач, и то попозже, с наступлением темноты. Он приходил и опускался на стул как человек, опоздавший на панихиду. Близкий человек семьи усопшего.

Через год мужчине полегчало. Он заговорил. У женщины появилась надежда. Мужчина пошел на поправку. Мальчик громко смеялся. Только старик был угрюм и злился, когда мальчик смеялся. Так продолжалось восемь месяцев.

Была ночь, все спали. Женщине снилось, что она тонет в море. Она умела плавать, но слишком устала, а берега все не было видно. На берегу ее ждал сын. Он не знал, что мать

тонег. Женщина кричала. Ее крика не слышал никто. Она сама его не слышала. Она хлебала соленую воду. Тонула. Собилась с силами, выпрыгивала из воды, и все начиналось снова.

Женщина открыла глаза и увидела склоненное над ней безумное лицо мужа. Ей показалось, что это продолжение сна, показалось всего на секунду, потому что руки мужа сдавливали ей горло. Она закричала, с трудом вырвалась. Ребенок заплакал, старик встал с постели. Мужчина захохотал.

Мать прижимала плачущего ребенка к груди и с мольбой говорила мужу, что это они — его жена и сын. Старик звонил в «скорую». Мужчина теперь смеялся вполголоса. Потом, голый, он закутался в простыню, поднялся на кровать и нервно заговорил:

— Диоскурия — город, затонувший в море. Одно время жизнь царил в Диоскурии. Моря и в помине не было. Потом пришло море, и Диоскурия стала островом. Когда море начинало волноваться, его волны рушили дома из белого камня. Потом море успокаивалось и отступало. Люди заново строили разрушенные дома и разрушенные очаги. Потом снова врывалось море, и все начиналось сначала.

Однажды море вовсе оставило Диоскурию, море перестало с ней враждовать, зато люди схватились друг с другом: уничтожали, насиловали, убивали. Люди рушили свои же семьи. Уничтожали физически и морально. Сознательно и несознательно. Вольно и невольно. Слышишь, ты! — закричал он на жену.

Она крепко прижала к груди ребенка и дрожала. На губах мужчины, завернутого в простыню, была пена.

— Слышишь?! Убивали семьи намеренно и ненамеренно, вольно и невольно. Ужас царил в Диоскурии. Разозлилось великое море, снова ворвалось в город и потопило его.

Мужчина локтем отер губы.

— Теперь послушай, — сказал он погодя, — никто не знает, почему море в первый раз подступило к городу. Почему рушило его. Почему отступилось. И под конец почему потопило. Только я один знаю об этом, и ты единственная, кому поверяю. Море породило Диоскурию и одарило людей жизнью и добром. Потом оно испытало их доброту. Море долго его испытывало, потому что знало, дольше всего прочего надо испытывать добро. Потом море ушло и, узнав о грехах людей, вернулось обратно и потопило белый город. Море всемогуще...

Мужчина некоторое время стоял оцепенело, потом испуганно сказал: «Теперь наденьте все рясы и длинные пальто. Я вас очень прошу... Очень... Очень...».

Время шло. Мужчине становилось то хуже, то лучше.

— Вы должны уйти отсюда. Вас никто не будет винить, жалко ребенка, — говорил женщине седой врач. Она должна была уйти, но жалела мужа. А после того случая у окна перелугалась насмерть. «Убьет моего сына, — думала она о свекре. — Выбросит. Убьет».

Лекарство пока еще не действует. Я бросаю простыню на кровать. Вытираю лицо полотенцем. Надо поскорее выбраться из дому.

На белом шкафу в моей комнате вырезано несколько венков. Они очень красивы и очень похожи на те, которые прежде приносили на папихиды. Недостаёт лент. Черных и белых лент с надписями: «Оплакиваем безвременно погибшего Те-мури».

Я говорю маме, что погода плохая и ей следует ехать в командировку поездом. Когда я выйду, она взглянет на меня из окна.

— Закрой, — говорю я.

Она закрывает окно и улыбается.

«Оплакиваем безвременно погибшего...»

Я иду по нашей узкой улице. У самого моего носа опускается веревка, я отпрыгиваю в сторону и наталкиваюсь на мадонницу.

— Что с тобой, парень? — спрашивает меня женщина в черном.

— Ничего, ничего.

Она кладет две банки мацони в серую сумку и привязывает веревку к ее ручкам. Веревка поднимается и поднимает сумку.

«Оплакиваем безвременно...»

Мне было десять лет. В Сухуми шел снег. Я взбежал по железной винтовой лестнице. Отцу тогда было лучше. Ночью он собирался взять меня к рыбакам. А на рассвете, чуть забрезжит, мы должны были на катере выйти в открытое море. Я был счастлив в тот день, когда в Сухуми шел снег и я бежал по винтовой лестнице нашего дома. Человека, которого звали моим дедом, не было дома. Если бы он был дома, непременно сидел бы в гостиной с газетой или книгой в руках, посмотрел бы на меня исподлобья, зло. Не сказал бы ни слова...

— Мама, — позвал я и вошел в смежную комнату.

Ее тоже не оказалось дома.

Я торопливо снял заснеженное пальто и направился к спальне: очень уж хотелось начать приготовление к ночному походу. Я открыл дверь. Посередине комнаты с высоким потолком отец висел на веревке. У его ног валялся стул. Помню, я что-то крикнул, побежал и вскарабкался на отца. Веревка качнулась. Я обеими руками ухватился за нее и дернул, чтобы сорвать. Веревка была привязана к железному крюку, вбитому в потолок. Крюк не шевельнулся, я еще раз попытался сорвать веревку, но она только раскачивалась из стороны в сторону. Тогда я и взглянул в лицо отцу, его мертвые глаза выкатились из орбит, словно мыльные пузыри, которые еще не сорвались с нитяной катушки. Все было кончено. Я отпустил веревку и крепко обнял отца. Так он меня обнимал бывало. Помню, на нем была белая рубашка. Веревка раскачивалась, и вместе с ней раскачивались я с отцом. Веревка раскачивалась не останавливаясь. Она качала нас в спальне с высоким потолком, словно была жизнью и радовалась и смеялась над нами.

Кто из вас раскачивался с отцом на таких красивых качелях?

«Дал покой наконец», — это было первое, что я услышал от человека, которого звали моим дедом. Он сказал это, когда вошел в комнату и увидел отца, накрытого простыней. Он до прихода сюда знал, что его сын покончил с собой.

Бог весть о чем он думал по дороге или что говорил, когда какие-то люди сопровождали его домой, бог весть. Но первое, что я от него услышал, было: «Дал покой наконец». Интересная фраза, не правда ли?

На панихиду приносили венки, вбивали в стены гвозди и вешали на них венки. Они висели, как висел мой отец. Большая часть венков была с надписью: «Оплакиваем безвременно погибшего Темура».

Вот спущусь по этой лестнице и ни о чем не буду больше думать. Надо спуститься и перестать думать. Увижу на службе ребят, и все станет на свои места.

Вверх по улице медленно поднимается женщина средних лет в выцветшем пальто и с кошелкой в руках. По ее лицу видно, что кошелка тяжела. Женщина уже успела вернуться с базара или, быть может, ночевала у родственника какого-нибудь, у которого были гости, и он дал ей остатки с пиршественного стола. Наверное, у родственника, потому как женщине в таком поношенном пальто не по средствам купить на базаре столько продуктов. К тому же она идет пешком по этой крутой улице. И еще, у нее наверняка есть богатый родственник, которому она помогала накрывать стол, и ее отблагодарили, наполнив сумку оставшейся едой.

Должно быть, у этой женщины и мужа нет, был и умер, или развелся с ней, или вовсе его не было. Их очень жаль, таких оставшихся без мужей, в выцветшем пальто, измученных и усталых женщин, я их жалею, как жалею свою мать.

— Темур... — снова зовет меня кто-то. Оглядываюсь.

«Марина год как ушла...»

«Постель мальчика пуста...»

«Игрушечный лев грустит...»

«Котик скоро умрет»...

Женщина приближается. Мы приближаемся друг к другу. Я бы взял и понес ее кошелку по этому крутому подъему, когда бы не боялся упасть. Не могу, нет, не могу...

— Дайте вашу кошелку, пожалуйста.

Женщина недоверчиво на меня смотрит и тянет кошелку в сторону и назад.

— Я вам помогу.

— Что?

— Кошелку.

— Поможете?

— Да.

— Спасибо, сынок, я сама. — Она убедилась, что я не собираюсь отнимать кошелку.

— Дайте.

Женщина глубоко дышит. Стоит, отдыхает. Я беру кошелку у нее из рук и смотрю на нее.

— Пойдем, — говорит она через некоторое время.

Мы медленно поднимаемся по подъему. Кошелка тяжелая, просто удивительно, как она ее тащила. Хотя, впрочем, мне это, наверное, кажется по причине собственной слабости. Ничего и не кажется. У нее оказывается, добрые родственники. О, какие вы все, родственники, добрые...

Я устаю и кажусь себе этой женщиной средних лет, усталой и измученной...

Мы одолеваем подъем.

— Ступай теперь, сынок, большое тебе спасибо.

— До свидания.

— Дай бог тебе здоровья.

Я ухожу. «Дай бог тебе здоровья... Дай бог тебе здоровья...» — ее слова меня сопровождают. «Благодарю».

У касс Аэрофлота множество народу.

— Расходитесь! — кричат милиционеры.

— Что случилось? — спрашивают вновь пришедшие. Я присоединяюсь к ним.

— Вот здесь, вот в этом месте нагнал. Открывал двери автобуса, хотел заскочить. Шофер не открыл, — плачет молодая красивая женщина.

— Расходитесь, расходитесь!

— Вовремя же вы умеете приходить, — говорит милиционерам мужчина, — защитники нашей безопасности.

— Приснилось бы, что ли? — кричат те.

— Верно, минут десять гнался, — говорит какой-то парень, мой ровесник.

— И не смогли поймать.

— Ножищем вертел, не подступиться.

— Мы после гнались за ним, когда он убил.

— Что случилось, что? — спрашивает побледневшая женщина.

— Один парень убил ножом другого.

— Изрубил всего.

— Нагнал его, когда тот не сумел открыть двери автобуса.

— Всадил в спину.

— Грузин? — спрашивает кто-то.

— Кто?

— Тот, кто умер?

— Грузин.

— А убийца?

— Национальности я у него не спрашивал, — кто-то все же пытается острить.

— Расходитесь, когда говорят. Не слышите, что ли?

— И тот был грузин, — говорит кто-то и зло смотрит на «шутника».

— Почему, сынок, за что...

— Что ты здесь делаешь?

Я прихожу в себя. По-прежнему стою у касс Аэрофлота, передо мной низкорослый милиционер.

— Я?



НАЦІАНАЛЬНАЯ
БІБЛІАТЕКА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

- Нет, я.
- Ничего.
- Так почему стоишь здесь?
- Я?

— Ты я вижу в настроении острить. Сведу в отделение, там и будешь острить.

- Нет, совсем не в настроении.
- Проходи, проходи...

Я иду. Наверное, он шел на службу или в институт, к девушке... к матери... Нес домой хлеб... Какое имеет значение... Всадил в спину... Можно представить, как ему было больно, как не хотелось... Шофер автобуса не открыл ему двери, а если бы открыл...

— Тебе плохо, сынок? — спрашивает меня какая-то женщина.

Потом она просто шевелит губами, потому как я не слышу ее слов. Перед моими глазами мчится улица.

Улица промчалась с людьми, словно поезд с пассажирами, облепившими окна вагонов.

Теперь я стою у подъезда Котикиного дома.

Когда я открыл глаза, увидел потолок машины «скорой помощи» и трех человек в белых халатах. Один из них держал шприц.

— Вам лучше? — спросила девушка, совсем еще подросток.

— Лучше.

Я присел на носилках. Врач, должно быть, был моих лет.

— Ложитесь, ложитесь, — сказал врач.

— Нет, благодарю. Я уже хорошо себя чувствую. Остановите машину.

— Ну что вы.

— Сделайте мне укол анальгина с димедролом, если у вас есть, и отпустите.

— Я не имею права вас отпускать, а укол анальгина сделаю, — очень «по-медицински» сказал он.

Не выношу этого «я не имею права, а...» Звучит как «будьте благодарны», не правда ли?

Фельдшер разбила ампулу и вытянула шприцем лекарство.

— Повернитесь.

— Нет, в вену, — сказал я.

Я только и желал, что выскочить из машины. В присутствии «медицины» мне становилось хуже.

— В вену нельзя, дорогой.

— Можно. Я сам делал.

Они так переглянулись, что я понял, они приняли меня за морфиниста. Я обрадовался, врачи боятся морфинистов. Отпустят, знал наверняка.

Я взял шприц у изумленной фельдшерицы и сделал укол. Врач удивленно на меня смотрел.

Машина остановилась. Мы все сошли у здания больницы «скорой помощи». Передо мной затормозил «фиат». Это был мой товарищ со студенческой скамьи. Я быстро сел в машину.

— Езжай, Тамаз, — говорю.

Машина тронулась.

— Что случилось? — спросил Тамаз.

— Ничего, знакомые. Повези меня в Сабуртало.

— Как ты?

— Хорошо. Сейчас на Земеле убили парня.

— Дальше?

— Что дальше?

— Что с того?

— Ничего.

— Вчера я был у Кети, сабантуйчик был небольшой. Ну, которая на филологическом училась, помнишь, грудастая. Короче, меня которая любила. Чувихи были клевые. Пошумели немного.

Я смотрел на Тамаза, он — вперед, но перед его мысленным взором явно стоял вчерашний «сабантуйчик».

— Значит, крепко пошумели?

— Чересчур.

— Отлично.

— Заходи хоть раз, черт тебя подери, прошвырнемся.

— Зайду.

— Оставим все, нельзя так терять друг друга.

— Нельзя.

— Так заходи.

— Останови здесь, — сказал я. — Будь здоров!

— Бывай! Заходи.

— Непременно зайду.

«Темури», — зовут меня, и я выглядываю из подъезда... Вот еще, надоели. Анальгин действует, по крайней мере, я не боюсь упасть. Захожу в комнату Котика. Рядом с его кроватью сидит Лали. Глаза ее при моем появлении светлеют. Если это можно назвать словом «светлеют». И чего эти двое сирот связались друг с другом?

— Как поживаешь? — замогильным голосом спрашивает Котик.

— Плохо, Котик. — Если бы я прекрасно себя чувствовал, все равно постеснялся бы сказать это при Котике. Я всегда стесняюсь говорить при тяжелобольных, что хорошо себя чувствую. Я и на панихиды к знакомым избегаю ходить. Тем более если в семье смерть забрала одного за другим. Заходишь, лежит мертвая мать. Обходишь гроб, пожимаешь руку товарищу, сыну умершей матери, целуешь и уходишь. Опять идешь к нему. Теперь отец лежит в гробу, повторяется та же церемония. У тебя есть отец или мать; у него — уже никого. Словно и на тебе какая-то доля вины в этом.

— Хорошо, что ты пришел, — говорит мне Лали.

Я сажусь на стул. У Котика голова стала большой, словно раздулась, глаза впали и потемнели, под одеялом тела не ощущается вовсе, даже не угадывается.

— Тебе надо новое пальто, это здорово поистерлось, — говорит мне Котик.

— Пожалуй.

— Не пожалуй, а надо.

— Достану, Котик, ясное дело.

— Не люблю, когда меня успокаивают, ты-то ведь знаешь

— Да.

— На тебе лица нет.

Я механически провожу рукой по лицу.

— Я тебе звонила вчера, — говорит Лали.

— Знаю, мама сказала.

— Сегодня Котику лучше.

— Не надо, — говорит Котик.

Я вымученно улыбаюсь Лали.

— Вчера были сильные боли, — говорит Котик.

— А сегодня?

— Сегодня не так. Вечером начнется.

— С чего ты решил?

— Начнется. Я хорошо бы себя чувствовал, когда бы не эти боли. Ходить смог бы. Главное — снять боли, и я очень хорошо буду себя чувствовать.

— Пройдет.

— Мозг человеческого прекрасно устроен. Никогда не верит до конца, что умирает.

— Не говори глупостей.

— Если что, надень на меня костюм — твой подарок, — он говорит мне это таким тоном, словно собирается уезжать в путешествие. Не верит, потому и говорит так.

Глаза у Лали наполняются слезами. Я эту девушку больше люблю, когда у нее на глазах слезы.

— По живым не плачут, — говорит Котик.

— А я и не плачу вовсе, — отвечает Лали и пожимает плечами, изображая удивление.

«Именно по живым и плачут, какой толк оплакивать мертвых»...

«Темури», — зовут меня. Я встаю и подхожу к окну.

— Выпил вчера? — спрашивает Котик.

Я оборачиваюсь. Мы смотрим друг на друга. Потом я улыбаюсь. Котик и Марина знают, что мной владеют страхи. Одна только разница: Котик никогда над этим не смеялся.

— Выпил.

— Потому не пришел, наверное, — говорит Лали.

— Ага.

— А я удивляюсь... — Лали что-то дает мне знать глазами. Я не догадываюсь.

— Зачастил слишком, — говорит мне Котик.

— Не так чтоб уж.

— Очень. И помирись с Мариной. Такие девушки на улице не валяются.

Я молчу. Смотрю на Лали: может, догадаюсь, чего она хочет. Лали уставилась в пол.

Позвоню после по телефону.

— Вы непременно должны быть вместе. Тебе будет хорошо, увидишь.

— Я пойду. На службе не был. Вечером зайду.

— Иди, иди, только заходи вечером.

— Зайду. — Я направился к дверям.

— Хоть бы мы учились в школе, — говорит Котик.

Я не оборачиваюсь, боюсь зареветь.

— Ах, да, — отвечаю, словно сожалеея о школьных годах, и быстро выхожу из комнаты.

На улице холодно. Пошел бы снег, что ли. О чем говорил, взгляд Лали? Не знаю. Если позвонить сейчас, Котик догадается. Позвоню со службы. Пойду пешком, убью время.

«Темури», — зовут.

«Постель мальчика пуста».

«Марина ушла».

«Котик умрет».

Передо мной мчатся машины. На капоте первой укреплен кукла. Не выношу свадеб. Как это можно побить свадьбы или панихиды?!

После смерти моего отца прошло, наверное, два или три месяца. Был вечер, я и мама возвращались с кладбища. Внезапно поднялся ветер. На море это часто бывает. Мы шли по набережной. Море было черно и вдали сливалось с такой же черной тучей. Все куда-то бежали. И мы бежали, как могли. Деревья походили на плакальщиц с растрепанными волосами. У самого дома нас настиг дождь. Я сильнее жалел отца, когда шел дождь. В коридоре висело несколько плащей. Мы с мамой удивились. Мать открыла двери в гостиную. Комнату заливал свет.

Во главе длинного стола, покрытого белой скатерью, сидел старик с лицом Мефистофеля. На голове его был венец из красной бумаги, рядом сидела женщина. По белому свадебному платью можно было догадаться, что это была невеста. Ее седые волосы растрепались, она была страшно худа и черна. Дряблые щеки подкрашены помадой.

Мефистофель еще больше согнулся в теле. Он был в черном пиджаке. На указательном пальце сверкал брильянтовый перстень. За столом сидело несколько мужчин и женщин, большинство старых и уродливых.

— Входите, родные мои, входите, — на редкость доброжелательно подозвал нас Мефистофель.

Старики старались не смотреть на нас. Они уткнулись носами в тарелки и ели. Мефистофель стащил с головы венец из красной бумаги, словно это имело какое-то значение. Черная и напوماженная карга кривила губы.

— Что такое? — спросила мама.

— Сюрприз, дочка, сюрприз! — Старик попытался улыбнуться. — Идите, заходите.

Мы с матерью вошли в гостиную.

— Что делать, дочка, старею и нуждаюсь в человеке, в уходе. Темури извел меня, но, однако, сладка, видно, жизнь, не свел он меня в могилу, не сумел я за ним последовать. У тебя нынче своя жизнь будет, а я в уходе нуждаюсь; моя Маро женщина чудесная, вместе и проведем остаток дней. Женой она мне стала. Воистину...

— Воистину... — Расхрабрившиеся старики подняли головы.

— Вот и венец мы на него возложили, хи-хи-хи, — старик с галстучком бабочкой сделал вид, что прямо-таки умирает со смеху, и снова сунул нос в тарелку.

Мама с силой сжала мне плечо. Мы вышли не говоря ни слова. Долго сидели в нашей комнате на кровати, не закигая света. Мама плакала. А во дворе шел дождь. Бесконечный, надоедливый дождь. От ветра и дождя дребезжали стекла. Мама плакала, а они все хихикали или смеялись от всей души. Засмеются и ненадолго перестанут. Кто-то что-то снова скажет, и снова смех. Я дрожал всем телом. Я понял, что должен сделать нечто такое, что положит конец кощунственному пиршеству, и мать перестанет плакать. Я вышел из комнаты. Я уже знал, что делать. Чудище в свадебном платье сидело на коленях у старика. Его змеиную голову по-прежнему украшал венец из красной бумаги. Уважаемых гостей это ужасно веселило. Женщины заливались, отирали платками слезы и визжали — ты мол, всегда был таким плутом и чертякой.

Я вошел в кладовую и в темноте на ощупь стал искать старую отцовскую винтовку. Нашел, пальцем нащупал магазин. Пуля была внутри. С ружьем в руках я вернулся в гостиную.

Мефистофель смеялся. Он хохотал, но, увидев меня, так и застыл на месте с разинутым ртом. Тягучая слюна стекла с нижней его губы. Гости увидели оцепенелое лицо жениха, проследили за его взглядом и застыли в той же позе.

Я подошел к окну с винтовкой наизготовку, мгновенно распахнул окно настежь, остановился рядом и наставил винтовку на пирующих.

Теперь дождь лил прямо на стол, ветер гулял по комнате, бил в лица оцепенелых гостей, трепал им волосы.

«Что с тобой, внучек?» — вскричал, опомнившись, Мефистофель.

«Что он делает?!» — вопили женщины и не могли очухаться. Тот, которого звали моим дедом, попытался встать со стула. Я выстрелил в него. Пуля разбила тарелку. Женщины визжали.

— Перебью всех! — заплакал я.

Они вновь окаменели.

Не помню, сколько я стоял так с ружьем в руках.

Чей-то голос заставил меня очнуться.

— Умру, мальчик, — причитала женщина, — умру. Замерзла я.

У моих ног валялся мокрый и изодранный венец жениха.

— Убирайтесь! — заорал я. И все бросились вон: все, и жених, и невеста вместе с ними.

— Расстрелять его надо!

— Хулиган он.

— Я-то знаю, что с ним делать, будь он совершеннолетний, — кричал на улице старик.

Я смеялся и плакал. Только мама не плакала больше. Целовала меня в мокрое лицо и просила: «Нет! Не надо!».

«Темури, Темури», — редко, когда меня окликают дважды.

И не так уж долго идти до места службы. Приду и позволю Котику, что-то нужно, наверное. Не наверное, а ^{наверняка} нужно.

«Темури!» — зовут снова.

«Постель ребенка пуста».

«Марина ушла».

«Котик умрет».

Навстречу идет молодой человек с перевязанной бинтом щекой. Ладонь прижата к щеке. зуб, видно, болит. Очень уж эти люди на покойников похожи в новых туфлях, новых костюмах, белоснежных рубашках, темных галстуках, с очками в нагрудных карманах пиджака. А если у них еще и лицо перевязано бинтом, они кажутся скончавшимися несколько минут назад. Верно, и тому, убитому сегодня, парню перевязали лицо от подбородка к макушке, чтобы не отваливалась челюсть. И Котику перевяжут. Потом скорбящие родственники наденут на него белую сорочку, купят ему новые ботинки и постараются сделать похожим на живого. Все это потом, когда умрет. Живой родственникам не нужен.

...И ему перевязали, чтобы рот походил на рот... Отлично перевязали. Отлично. Перевязала та самая девушка, почти подросток, из машины «скорой помощи». Девушка со светлыми волосами. Живые столь прочно перевязывают лица мертвых или, точнее, затыкают им рот, словно боятся, как бы они под конец не продали их тайн... «Ай-ай, — говорят они, — как бы не опозорили нас». Но ведь они, господа, при жизни вас не продали!

Поезд медленно подъехал к Тбилисскому вокзалу и остановился. Из поезда вышла женщина с мальчиком и чемоданом в руках. Оба кого-то выискивали взглядом. Женщина знала, кого искала. Мальчик никогда не видел своего дяди, разве что на фотографиях из толстого семейного альбома с истертой обложкой.

— Вот и твой дядюшка, — сказала женщина.

Навстречу им шел сухощавый молодой мужчина выше среднего роста, красивый, со строгими, резкими чертами восточного лица. Он был одет в белый пиджак, синюю сорочку и черные брюки. Он, улыбаясь, приблизился к женщине с ребенком. Мальчик не сводил с него глаз. У мужчины были светлые волосы и большие синие глаза, как у отца. Мальчик смотрел на него и думал, что тот, который идет к ним навстречу, похож на Иисуса Христа. Он был плоть от плоти и кровь от крови его. Единственной надеждой и опорой его отрочества. Он шел навстречу и улыбался. Мальчик видел солнце над головой дяди. Оно следовало за ним, возможно, потому он и сравнил его с Христом, а впрочем, сейчас он и был для него Иисусом. Мужчина нагнулся и поцеловал мальчика, и ему вспомнился запах отца.

— Я не смог бы смотреть на него, потому не приехал, — сказал дядя.

— Знаю, — сказала мать.

— Мы будем жить вместе, — сказал мужчина и взял чемоданы.

— Пошли, — обратился он к племяннику и, взглянув на мать, прибавил: — А он правда женился?

— Да, — ответила женщина, — свихнулся вконец к старости.

Дядя ничего не сказал.

— Тяжело? — спросил он после минутного молчания, указывая взглядом на чемодан, который обыкновенно носил Темури.

— Нет. Поцелуй меня, — сказал он и устыдился своих слов.

На мгновение удивление отразилось в глазах дяди, потом удивление сменила печаль. Он опустил вещи на асфальт, поднял десятилетнего мальчика на руки и крепко прижал к груди. От него пахло запахом отца.

Они жили вместе. Его дяде было тридцать и звали его Гурамом. У Гурама была жена, и Темури полагал, что лучше и красивее ее не сыскать во всем Тбилиси.

После лекций, когда наступало время возвращения Медико домой, Гурам из окна смотрел на улицу и становился у подъезда, когда видел, что она вынырнула из-за угла. Он буквально на руках поднимал ее в квартиру. Потом они уходили к себе в спальню.

— Темури?! Стыдно, Гурам, — шептала жена мужу.

Темури уже знал, что должен делать. Это знает каждый. Он выходил из дому, какой-то по-глупому счастливый, раскрасневшийся. Когда Темури шел по улице следом за дядей и его женой, он был счастлив. Прохожие часто останавливались и провожали их взглядом. Темури в этот миг хотел крикнуть, что тот, на которого смотрят, его дядя.

Однажды в воскресенье Гурам взял его на ипподром и посадил на белую лошадь. Он сам держал в руках узду и прогуливал его по полю. Потом мальчик прыгнул с лошади, и его сменил дядя. Выпрямившись в седле, он вел лошадь сперва шагом, потом пустил ее, скакал долго... Он часто его водил на ипподром, и Темури привык к лошади... «Вскоре ты будешь ездить лучше меня... Очень скоро», — говаривал ему дядя, и Темури радостно смеялся.

Шло время. Все жили вместе, одной семьей, и Темури был счастлив. Но счастье — это что-то вроде солнечного осеннего дня. Боишься, как бы небо не покрылось тучами и все вокруг не посерело, как бы не стемнело внезапно, потому что знаешь: осенью солнце умирает рано. И Темури боялся. И оказалось — не зря.

Всего два года по переезде в Тбилиси прело солнце его тельце и умерло. Сумерки наступили внезапно. В тот день, когда Темури, почему-то возвратившись из школы раньше обычного, вместо дяди застал в постели Медико чужого мужчину. Первое, что попало ему на глаза, была голая нога Медико и волосатая лапа того, кого-то, неизвестного.

«Гурам!» — вскрикнул мальчик и выбежал из дому. «Гурам!» — кричал он голосом обреченного и бежал сломя голову.

«Гурам!» — вопил мальчик и наталкивался на удивленных прохожих, падал, поднимался и снова бежал. Мальчик бежал и возгласы прохожих: «Зверь!», «Идиот!» — сопровождали его. Возгласы и взгляды. В особенности какой-то молодой женщины, которую, когда на нее натолкнулся Темури, оттолкнуло к стене.

«Черт бы тебя побрал!» — послышался вслед старческий голос. Темури споткнулся о трость старика и упал.

«Чтоб ты сдох!» — взвизгнула женщина, кошелка которой валялась на земле. Высыпавшаяся из нее картошка медленно катилась по улице.

Все, буквально все, кого касался Темури, считали своим долгом откликнуться, все слали ему вслед «добрые пожелания», и никому не приходило в голову поразмыслить, почему маленький мальчик бежит сломя голову, почему выкрикивает имя «Гурам» и от кого он бежит.

Муки длились два месяца. За эти два месяца он, как правило, редко с кем заговаривал. Мать ходила в школу и спрашивала учителей, что случилось с ее сыном. Дядя спрашивал о том же у своей невестки и жены. Говорил, что не узнает племянника.

Жена пожимала плечами (да и могла ли она ответить?). Мать плакала. Плакала часто. Однажды за обедом дядя спросил его самого и, не получив ответа, швырнул вилку на стол, поднялся и вышел из комнаты. Поздней он извинился.

— Ты, — сказал дядя, — мне и сын и брат, потому-то я и обижаясь.

— Влюблен, — ответил мальчик.

И дядя обрадовался.

— Сказал бы раньше, чудак! Кто из нас не влюблялся. Он сообщил об этом и невестке, и жене,

Как-то вечером Гурам возвратился домой пьяным. В доме, кроме Темури, никого не было. Гурам остановился посреди комнаты и уставился на племянника. Мальчик медленно поднялся со стула и впервые после той истории посмотрел ему в глаза. Гурам улыбался. Из его глаз текли слезы.

«Что?» — взглядом спросил Темури.

«Я все понял», — взглядом ответил дядя.

«Все?» — мелькнуло у Темури в мыслях.

«Абсолютно все, абсолютно все», — пронеслось в мыслях у дяди.

Темури медленно к нему приблизился, стал перед ним на колени, точно перед иконой.

Медико ушла. Прошло семь лет. Темури, студент четвертого курса, проходил практику в Москве. Июнь завершался. Перед отъездом Темури вывел дядю из больницы. У него болела печень и в придачу выявилась язва желудка.

«Пить ни капли нельзя, иначе погибнешь!» — сказал ему врач.

«Погибший он», — подумал Темури. Он погиб в тот день, когда узнал. И еще раньше. Медико ушла. Семь лет прошло, и за эти семь лет Темури ни разу не видел Гурама трезвым. Разве что редко, очень редко он давал себе передышку.

Стоял июль. В Москве было жарко. Тбилиси горел от жары, а в подвале Сарибеге все равно было прохладно. И людей было мало. За столиком в углу сидели пьяные с красивыми носами. Среди них выделялся один бледным своим лицом, длинными волосами и отпущенной бородой и чистой, очень чистой белой сорочкой.

— Пей же ты, чучело гороховое, — один из раскрасневшихся наполнил его стакан вином.

— Я чучело гороховое? — спросил Гурам.

— Ну да, пей.

— Разве я когда-нибудь отказывался? — Гурам выпил.

— Не хочу больше, опьянел, — сказал он погода.

— А мы что, хотим? — спросил краснощекий.

Снова наполнили стаканы.

— Еще раз выпьем в помин по нашим родителям, — сказал кто-то.

— Встанем, — предложил краснощекий.

Встали, пошатываясь. Гурам остался сидеть.

— Ты почему не встаешь? — спросил краснощекий.

— Не все ли равно?

— Вставай, — прикрикнул на него краснощекий, схватил за плечо и приподнял.

Выпили. Уселись. Сел и Гурам. Он улыбался.

— Ты, погляжу, в хорошем настроении, — не отставал краснощекий.

— Не очень уж.

— Так почему улыбаешься? Надо мной насмехаешься?

— Нет.

— Отстань от него! — сказал кто-то.

Они пили опять.

— Что у тебя в газету завернуто? — снова спросил краснощекий.

— Эйфелева башня.

— Измываешься?

— Не очень уж.

— Отстань от него. Чего пристал.

— Значит, не скажешь, что у тебя там?

— Рисунок.

— Чей?

— Мой.

— Продаешь?

— Ага.

— Тоже мне, Пиросмани.

— За нашу дружбу, — пробурчал один.

Выпили.

— Покажи.

Гурам отдал сверток. Тот развернул его.

— Тоже мне Петров-Водкин. Рыба, хлеб, бутылка водки... Почему рыба съедена?

— Есть хотелось.

Краснощекий свернул рисунок, обеими руками ухватился за край свертка и переломил его о колено.

— Это ты делаешь? — слышались отовсюду возгласы.

— Или приключений на свою голову ищешь сегодня, Левик? — спросил сидящий рядом.

Гурам встал, взял полную бутылку вина и медленно поднялся по ступенькам подвала.

— Обиделся, — сказали краснощекому.

— А, так поздравляю, Гурамчик! — Левик вконец ожесточился. — Твоя жена вышла замуж за делягу. Теперь у тебя денежки заведутся.

Гурам обернулся.

— В самом деле? — спросил он.

— А будто не знал?

Гурам постоял некоторое время, о чем-то раздумывая, ни на кого не глядя.

— Не знал, — как-то нервно выговорил он, — а хорошо. Слава богу... — Он собрался уходить.

— Слава богу? Это почему же? Или гулять больше не будет, а?

Гурам приблизился к Левику, засмеялся ему в лицо и ударил по голове бутылкой с вином. Краснощекий будто этого и ждал. В его руке блеснул нож. Он всадил его в Гурама снизу. В живот.

— Убил, сукин сын! — раздался в подвале крик.

«Постель мальчика пуста».

«Марина ушла».

«Котик скоро умрет, и ему, как и Гураму, повяжут челюсть».

«Темури!» — не хочу больше, не оглянусь. Я устал. Отстань от меня.

Тбилисский аэропорт принял самолет в три часа ночи. Когда он начал приземляться, я оглядел город. Тбилиси был озарен светом, и какая-то надежда вселилась в меня. У дома надежда меня покинула. Она покинула меня, когда я взглянул на дом, погруженный во мрак. Я достал ключи и открыл двери и, пока вошел в комнату, на что-то натолкнулся. Шкаф почему-то стоял посреди комнаты. Я удивился. Потом решил, что мать в больнице, и, не зажигая света, повалился на диван. Дверь медленно отворилась. Я чуть было не потерял сознание от страха. И тогда понял, чего боялся. Я боялся покойника.

— Кто? — спросил я.

— Каринэ.

Каринэ — наша соседка, курдянка. Она время от времени помогала матери по хозяйству.

— Что тебе здесь надо в полночь, Каринэ? — Я несколько пришел в себя.

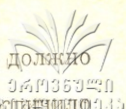
— Гурам умирает.

— Что произошло, Каринэ?

— Его ударили ножом в живот. Сделали операцию. Все равно умирает. Врач сказал, если бы ножом не ударили, все равно через год-два умер бы. — Она зажгла в комнате свет.

— Почему здесь такой беспорядок, Каринэ? — спросил я после минутного молчания.

— Убирала. Потом спать захотела.



— Почему убирала?

— Ведь Гурам умрет. Ведь люди придут. Чисто должно быть.
— Может, не умрет. Чего спешить, с чего вам готовиться?

— Чисто должно быть.

Что-то изнутри било меня в череп и сердце, выпрыгивало из груди.

Светало.

— Кто это? — спрашивали мать и врач. Гурам никак не мог вспомнить имени. — Кто это сделал?

— Мой брат, — ответил Гурам.

— Бредит, — сказал врач.

— Нет, со мной что-то происходит...

Я вошел в палату.

— Здравствуй, — сказал умирающий.

— Здравствуй, Гурам. — Я нагнулся и поцеловал его.

Худое лицо его словно заоченело.

— Почему ты приехал?

— Руководитель практики заболел, — солгал я.

— А-а... Ну, как поживаешь?

— Да, так себе. А ты? — глупо спросил я.

— Я тоже. Выйдите, — он обратился к моей матери и врачу.

чу.

Они вышли.

— Поцелуй меня, — он сказал это так, как я ему десять лет тому назад на вокзале.

Я поцеловал.

— Ты один был у меня, — сказал Гурам.

— А ты у меня.

— Ты не покинешь меня?

— Нет, нет.

— Я тебя много помучил..

— Чем ты меня помучил, Гурам?

— Ты столько таскался со мной по подвалам. Я тебя сполнил, кажется.

— Я и без тебя любил...

— По больницам заставил побегать.

— Помолчи.

— А сколько ты меня на себе таскал!

— Никогда.

Он помолчал. Потом глубоко задышал.

— В таких случаях человек должен покончить с собой. Я не сумел. Хотя самоубийство бывает двояким: разом и так, как я это сделал, постепенно. Так поступают слабые.

— Из-за чего случилась драка? — я по своему разумению попытался перевести разговор.

— Кончай. Он ни при чем. Ускорил, только и всего. Помнишь лошадь?

— Как не помнить.

— Хочь лошадь, — сказал Гурам и приподнялся в постели.

— Когда выздоровеешь, пойдем снова на ипподром. Или
вовсе уедем куда-нибудь в деревню.

— Воздуха не хватает.

Я вскочил, распахнул окно. Открыл безо всякого стеснения.

В палату вошли мать и врач.

— Воздуха не хватает, — как бы извинился Гурам.

— Ему душно! — крикнул я.

— Откройте окна, — сказал Гурам.

— Откройте, — повторил я.

— Они открыты, — удивился врач.

— Выходи, — обратилась ко мне мать.

— Не выходи. Темури, — попросил Гурам.

Ему сделали укол в вену.

— Теперь вам полегчает.

— Сейчас пройдет, — сказал я.

— Выйди, — сказала мать.

— Сама выходи, — прикрикнул я на нее.

— Выйдите, — сказал мне врач и подмигнул, — боль-
ной нуждается в отдыхе.

Гурам схватил меня за руку, его пальцы были ледяными.

— Убирайся! — крикнул я врачу.

— Что со мной происходит? — спросил Гурам.

— Так бывает.

— Что?

— Просто у тебя недостаточность.

— Просто, — повторил он, чтобы убедить себя.

— Сейчас пройдет.

— Пройдет?

— Пройдет.

— А что это за синяя скала там, за окном?

— Прежде не замечал?

— Никогда.

За окном, понятно, ничего не было.

— Красивая очень, — сказал я.

— Очень. Синяя только.

— Да.

— Скала погасла. Как бы ды-ым не про-ник, и бе-ез того
мне воздуху не хватает.

— Не проникнет, Гурам, нет.

— А это что? — Гурам приподнялся. Я привстал вместе
с ним.

— Ты? — тихо, очень тихо спросил он у небытия. Глаза
его одновременно выражали изумление и испуг. Потом тело его
расслабло и навалилось мне на грудь. Страх исчез. Гурам скон-
чался. Мама плакала.

— Бинт, — потребовал врач таким спокойным тоном, слов-
но собирался сделать обыкновенную перевязку. Фельдшер при-
несла бинт, и он обвязал лицо Гурама от подбородка к макушке.

Он позвонил со службы Лали. Она сказала, что Котик не
спал.

— Он просит, чтобы ты пошел к Марине, — прибавила
Лали.

— Пойду, — ответил Темури.

Он шел по коридору, механически здороваясь с еслуживцами, и думал о том, в чем может нуждаться Котик. «Пойду, непременно пойду», — думал Темури. Он был уже на улице и шел к Марине. Он упал бы на колени и стал целовать ей ноги, если бы она отказалась вернуться к нему. Его жена — один-единственный близкий человек на свете из тех, кто остался жив. У Темури на этом свете оставались мать и сын, но когда мать понимала и дружила с сыном или сын с отцом. Все дороги вели к Марине, которую он любил больше сына, больше матери и Котика, больше себя самого.

Он знал почему. Он все помнил. В том-то и беда, что он все отлично помнил. Счастливые дни забываются легче. Несчастье незабываемо, оно гложет душу и мозг. Оно всегда с тобой, потому как не иллюзорно! Оно достоверней всего, что только существует на свете. Марина ни в чем не была виновата. Не было на ней вины. Ни чуточки. Ее мучали его раздраженность и растрепанные нервы. Бывало, он хорошо себя чувствовал с Мариной, но его существо было столь чуждо состояние такого рода, что не рождало в нем ничего, кроме удивления. Его удивляло, как это возможно хорошо себя чувствовать. «Наверное, что-то не так», «наверное, я ошибаюсь и обманываю себя».

Они прожили вместе три года, и однажды, когда сын заорал в ответ на крики отца, Темури испугался. Бог ты мой, они-то при чем, ведь нет на них вины передо мною. Испугался и умолял. Он думал только об одном. Он думал, что они должны уйти от него, иначе все повторится. Все повторится, и погибнут оба — и Марина, и сын.

Наутро он отправил обоих. Своей рукой одел сына. Своей рукой уложил чемодан, одежду Марины и отправил к ее родителям.

— Так будет лучше, — сказал он Марине. — Так лучше и для вас, и для меня.

Он говорил каким-то не своим голосом.

Чаще он возвращался домой пьяным, чтобы поскорее уснуть, ни о ком и ни о чем не вспоминая.

Теперь он был на улице. Он шел к Марине и думал об их возвращении. Невесть откуда в нем даже появилась надежда, что он сумеет перебороть себя. Возможно, упрек и настоятельная просьба Котика также этому способствовали. Он был настолько обрадован этим решением, что на некоторое время даже позабыл о болезни друга. Он шел быстрыми шагами, бодро, не боясь упасть, и никто не окликал его.

Дверь открыла бабушка Марины.

— Здравствуйте, — поздоровался Темури.

— Что вам, юноша, угодно, хотелось бы мне знать? — своим местечковым выговором спросила Маринина бабушка.

— Марину.

— А еще что угодно, еще?

Темури улыбнулся.

— Можно войти?

— Нельзя! — злобные нотки прозвучали в ее голосе.

— Пропустите.

— Бродяги, сумасшедшие, ненормальные и пьяницы не нужны нам больше. Еще...

— А уборщицы и упаковщицы?
— Хам эдакий!
— Тогда вывесьте объявление: «Бродяги, сумасшедшие и пьяницы нам больше не нужны». Да смотрите, не забудьте еще ненормальных.

— Покиньте коридор, вам говорят! — крикнула женщина. Темури обнял ее за талию, поднял, переставил словно игрушку, вошел в комнату, поискал взглядом Марину.

— Ушла Марина, испорченный ты человек! — старушка следовала за ним.

— Ушла, — сказала ему и мать Марины, поднимаясь со стула.

— Как это, ушла?

— Уже неделя.

— Куда ушла? Где ребенок?

— Ребенка повели гулять. Марина неделя как уехала в Сухуми.

— Что ей надо зимой в Сухуми?

— Так, — женщина замялась и подошла к окну.

Темури приблизился к ней.

— Почему?

— Марина, — женщина запнулась и затем быстро проговорила, — вышла замуж.

Темури засмеялся.

— Суцая правда, — подтвердила старушка.

— Невозможно, — сказал Темури.

— Уже неделя.

— Нет, невозможно.

— Это так, Темури.

— Почему так? — проговорил он, обращаясь к самому себе.

«Невозможно», — подумал он и взглянул на женщину.

— Так это, — сказала женщина.

«Все кончено», — подумал Темури и посмотрел в окно

Шел снег.

— Снег идет! — сказал Темури вслух.

Машина стояла, почти упираясь в шлагбаум. Темури сидел впереди. Поезд запаздывал. Шофер вышел из машины и флиртовал с девушкой, которая стояла в дверях будки с желтым флажком в руке. Вокруг лежал снег. Рядом с машиной, в которой сидел Темури, стояла еще одна. В машине сидела молоденькая девушка и смотрела на Темури. Темури ехал из Тбилиси за врачом. Он пришел к Котику, когда тот спал. Тогда Лали ему и сказала, что надо привезти из Цхалтубо какого-то врача болгарина, о котором рассказывали чудеса. Одно, во всяком случае, было несомненно — хотя он не излечивал от болезни, но боль снимал полностью. И то утешение. Он непременно должен был привезти врача, во что бы то ни стало. Надо было только достать деньги. Темури весь вечер бегал, стараясь раздобыть деньги, а когда все отказали, пришел ночью в дом своего начальника. Ему было стыдно, но думать о стыде не приходилось. Котик должен был умереть без болей.

Утро застало Темури на улице. Он с трудом уговорил какого-то шофера, и сейчас машина стояла у шлагбаума, почти упи-

раясь в него. Шофер о чем-то оживленно разговаривал с девушкой. Рядом с машиной Темури стояла другая, и сидящая в ней девушка смотрела на него. Он смотрел на снег.

«Марина не вернется больше».

«Постель мальчика всегда будет пустой».

«Котик умрет. Только бы ему не было больно».

Неожиданно он обернулся и посмотрел на девушку, сидящую в машине рядом.

«Как странно она на меня смотрит», — подумал Темури.

Наконец-то показался поезд...

Темури услышал звук столкнувшейся с чем-то машины. Он оглянулся. Машина, набитая пьяными, наехала на столб. Почему-то страшно обрадованный, шофер снова завел мотор и с невероятной скоростью понесся вперед. Поезд приближался. Темури посмотрел на мчащуюся на полной скорости машину. Потом на поезд. Машина, в которой он сидел, от сильного удара рванулась вперед, разломала деревянную штангу шлагбаума и по инерции въехала на рельсы. Темури увидел огромную фару. Она была очень близко. Он открыл дверь и выпрыгнул. Поезд далеко отбросил машину. Темури оказался в воздухе, и ветер, поднявшийся от поезда, тащил его рядом с ним. Темури в какое-то мгновение, а может, и того меньше, увидел в окне поезда самого себя. Он постарался ухватиться за поручни вагона и заорал от боли. Поезд медленно останавливался. Кричала девушка. Потрясенный машинист почему-то дал гудок. Остановившийся поезд вопил, словно оповещая о случившемся весь мир.

— Холодно, — сказал кому-то Темури.

Он валялся на снегу, и на снегу была кровь.

— Помоги, — сказал Темури и протянул кому-то руку. Тот вскрикнул и убежал.

По дороге в больницу он умер, прислонив голову к плечу неизвестного человека.

— Холодно, — сказал он перед смертью.

Через полчаса открыли дорогу. Пьяных арестовали. Машины разъехались. Люди разошлись. Ничего и никого не осталось вокруг, кроме снега.

Земля была одета в белую окровавленную рубаху.

Перевод Тенгиза КВАЧАДЗЕ



Мака ДЖОХАДЗЕ

გამომცემელი
საბავშვო ჟურნალი

РАССКАЗЫ

Я родилась в Тбилиси, где окончила школу, а затем отделение журналистики Тбилисского государственного университета. Параллельно закончила музыкальное училище по специальности педагога-концертмейстера и с 1966 по 1969 год

преподавала фортепиано в 35-й средней школе.

По окончании университета я стала аспиранткой кафедры истории новейшей грузинской литературы.

В 1968 г. в газете «Литერатуриლი Сакартველო» был опубликован мой первый рассказ. С этого времени мои рассказы, стихи, очерки, литературные статьи и рецензии систематически печатаются в грузинской периодике.

В 1976 году в издательстве «Мерани» вышел первый сборник моих рассказов «Гурам-Гурам», посвященный памяти замечательного грузинского фоторепортера, журналиста и альпиниста Гурама Тиканадзе.

В нынешнем году в издательстве «Молодая гвардия» выйдет сборник моих рассказов в русских переводах.

Дивачили

Гуджа лежал на земле, подле него сидела Дивачили. У Дивачили большие черные глаза и выгоревшие от солнца волосы. У Дивачили ровные белые зубы и покрытая пушком кожа. Потом на земле лежала Дивачили, а Гуджа слушал ее громкое дыхание.

— Гуджа!..

— Оу?!

— Я ведь научила тебя сидеть на лошади?

- Научила.
- А ведь хорошо сидеть на лошади?
- Хорошо.

Умолкла Дивачили.

Серая лошадь стояла рядом и вовсе не смотрела на нее, хотя в глазах у нее была ревнивая обида.

- Гуджа!..
- Оу?!
- Ничего...

И снова:

— Гуджа, знаешь, какой ты белый?!

- Знаю.
- Нет, правда, чего смеешься...
- А ты розовая.
- Правда?..
- Правда.

— А это хорошо?..

Потом Гуджа сидел и смотрел не на Дивачили, а в небо. Дивачили обиделась. Небо — развернутое голубое полотно. Розовое облако — Дивачили, серая лошадь...

Гуджа лежал, и свет небесный жег ему глаза.

* * *

- Уходишь?
- Ухожу.
- Совсем?..
- Совсем.
- Гуджа!..
- Оу?!
- Я ведь научила тебя сидеть на лошади?..

«Теперь нужно поцеловать Дивачили...»

Так и не взглянув в его сторону, огорченная девушка ушла вверх по косогору.

Туда... в горную даль

Сначала чуть слышный шорох донесся из кустов, потом он стал слышен отчетливей... И наконец, появилась она. Оглядела все большими, цвета светлого меда глазами, вдохнула воздух черным, изящным носом и прилегла.

- Заза...
 - Да, вижу, Шергил.
 - Отдыхает. Вот увидишь, через минуту встанет.
 - Это тур?
 - Да нет... серна это.
- Шергил поднял ружье. Заза покраснел.
- Постой, не стреляй...
 - Почему?
 - Вот поднимется и тогда...
 - Красивая?!

— Да, очень. Смотри, какое у нее тело!
Она поднялась на передние ноги, встала на задние. Подняла похжие на удлиненные листья уши на уровень с маленькими рожками, выгнула вперед грудь, и ее соломенного цвета шея стала еще выше, еще прекрасней.

Насторожилась.

— Ты только скажи, куда мне выстрелить.

Все произошло вдруг. В одно мгновение... Она повела медового цвета глазами. Слегка изогнулась. Подтянула передние ноги и... пропала. Сразу, в одно мгновение исчезла в зеленой листве и испуганная мчалась, наверное, многие километры.

— Заза!..

— Оу?!

— Смотри, не проговорись дома... убьет меня дедушка.

— Хорошо. — Заза молча взглянул на охотника.

У Шергила были огромные, цвета светлого меда глаза. Он грустно смотрел туда... в горную даль.

Как любил он ее?!

По Халдэ пронесся слух о приезде Марлена.

— Не нравится мне это, — задумчиво сказал старик Джохан.

— Почему?.. Что в этом особенного, деда?

— Что особенного?.. Не твое это дело, Дина, мала ты еще...

— Деда!

— Оу...

— Деда, а Марлен правда красивый?

— Красивый, Дина, очень красивый.

— И танцует он хорошо?

— Он хорошо и поет, и танцует.

Кровь Дины горячей, сладкой волной пробежала по телу. Сердце как-то странно забилося. Не взглянув на Дину, старик проговорил:

— Какая муха тебя укусила, чему ты радуешься, Дина?..

Девушка поникла, медлила с ответом.

Наконец сказала ворчливо:

— А чему мне радоваться, деда. Что мне...

Плутовка Дина, ох и плутовка, даже Джохана провела. Она уже успела увидеть Марлена. А деда спрашивала о нем для виду.

Полюбился девушке парень. Сразу и вдруг, видом своим полюбился. И от деда узнала — поет и танцует хорошо.

* * *

— Деда, а правда, что Марлен жену Шамиля любил?

— Кто тебе сказал, Дина, откуда ты знаешь?

— Ха, значит, это правда?

— Да как тебе сказать... любил...

— Любил, значит, да? — чуть не задохнулась Дина.

Дина смотрела на себя в зеркало. Как он мог ее полюбить? На кого она похожа, несчастная. А глаза у нее какие?! Сейчас Дине больше нравился цвет своих глаз. А фигура у нее... Она оглядела себя со всех сторон. Подумаешь, любит в детстве. Теперь ведь она все равно жена другого.

* * *

Старый Джохан вернулся домой усталый.

— Говорил же я, что не нравится мне это.

— О чем ты, деда?

— О чем, да об этом негоднике...

— Ты о ком, деда?..

— О Марлене... О твоём красивом Марлене.

— А что случилось, деда? — забеспокоилась Дина.

— Похитил у Шамиля жену, бессовестный.

Потупилась Дина. Молчала долго.

— Да кто тебе сказал, что он мой, — с трудом проговорила она.

Заперлась в своей комнате Дина. Повлажнели румяные девичьи щеки. Потом подошла к зеркалу. Хотя и полны ее глаза слез, проговорила с насмешкой:

— Как любил он ее?! Как похитил ее?! На кого похожа эта несчастная... И глаза у нее какие...

Снежинка

— Тебе холодно?.. Да, холодно. Еще немного... Ну, что же мне делать... Уж лучше здесь остаться... Кохта, посмотри на меня, ну...

Кохта не посмотрел.

— Посмотри на меня, — мальчик с трудом повернул ему голову.

Кохта все-таки отвел глаза.

— Проголодался?.. Конечно, проголодался, — мальчик положил ему руки на спину.

— Какой ты горячий!.. Почему ты такой горячий?

Кохта по-прежнему смотрел в сторону.

— Обиделся?

Кохта замотал головой. Мальчик чему-то обрадовался.

— Как тебе не стыдно, не можешь потерпеть такую малость? Вот посмотри на меня... Думаешь, только ты голодный. Мне тоже есть хочется и... холодно, Кохта... Знаешь, как холодно!.. Ведь я только для тебя это сделал.

Мальчик встал на цыпочки и поцеловал Кохту в глаза. Кохта поднял голову, перебирая белыми ногами.

«Холодно», — подумал мальчик, вскочил ему на спину и как бы невзначай натянул поводья. Кохта обиделся, уперся. Мальчик потянул сильнее. Двухлетний жеребец, заржав, встал на дыбы. Мальчик прикрикнул на него и ослабил поводья.

Кохта артачился некоторое время, потом, как будто что-то поняв, рванулся вперед.

«Ах ты, бешеный», — обрадовался мальчик и гикнул. Снежная целина словно взорвалась под копытами, обнажая землю.

Не щадя себя, мчался конь по горным склонам, первый раз исполняя просьбу мальчика, вкладывая в свой бег страстное желание все успеть, постичь все...

Холодный воздух обжигал ему ноздри, наполнял слезами глаза. Дыхание его участилось. Двумя ровными белыми струями выдохнул он из посиневших ноздрей переполнившийся легкий горячий воздух. Струи медленно растаяли в воздухе...

Вдруг напряжение спало.

Мышцы ослабли.

Он бессильно повалился, темнея на снегу пятном кофейного цвета...

— Кохта, что с тобой, посмотри на меня.

Кохта глянул затуманенными глазами, потом, как бы извиняясь, опустил голову.

— Кохта, тебе холодно?.. Холодно тебе?.. Потерпи немного, сейчас...

Мальш приложил руки к потному боку коня и долго растирал тонкими пальцами его шею и тело.

Мальчик быстро согрелся, у него сразу появились сила и надежда. Кохта же еще ниже опустил голову.

Скоро и мальчика стала бить частая дрожь, холодный страх постепенно овладевал им.

— Кохта, взгляни на меня... Умоляю, посмотри... Ты же согрелся... вай, что делать?..

Мальчик беспомощно оглянулся. Кругом была только белизна.

— Ну еще немного, Кохта... Не губи меня, милый!.. Я уведу тебя и вылечу. Клянусь матерью, уведу тебя. Ну же! Я ведь для тебя это сделал, не стыдно тебе... Разве тебе там лучше было? Ну хорошо, хорошо... Я отведу тебя обратно. Ты только поднимись, я отведу тебя. Ведь продадут тебя, посмотришь, что с тобой сделают... Не хочешь быть со мной? Ну хорошо, хорошо... Вот увидишь...

Он сглотнул злые колючие слезы.

Мальчик стоял молча. Больше всего горели глаза и лоб. Он еще раз посмотрел на коня.

Жеребец откинул красивую голову в сторону. Огромная снежинка медленно таяла на его открытом зрачке.

Мальчик осмотрелся.

Вокруг была белизна, сплошная белизна.

Гурам-Гурам

— Хозяин, откроешь нам?

— Входите, пожалуйста.

— Почему не спрашиваешь, кто мы, хозяин?

— К чему спрашивать, узнаю, когда войдете.

Незнакомые парни отворили скрипучую калитку.

Навстречу им вышел высокий старик. Оглядел ребят при свете луны. «Хорошие ребята», — подумал он, провожая гостей в дом.

— Поздно уже, дядя, нам бы в деревне остаться.

— Ну и что тут особенного, чего тут, парень...

Некоторое время стояла неловкая тишина. Стакан звякнул о тарелку. Хозяйке не нужно напоминать — она и сама все знает: «Наверно, устали и голодные. Хорошие-то какие, А этот кудрявый, ну прямо настоящий сван...».

— Давай, дорогой Тенгиз, выпьем за эту прекрасную семью. Думаешь, большое дело открыть ночью дверь и впустить незнакомых людей? Правильно, нет в этом ничего особенного. Так любой сделает, но... Посмотри на его улыбку, и выпьем за него и его детей. Ваше здоровье, тетя Мелик, и да хранит вас бог и ваш святой Квирике. Здоровье этих маленьких девочек, что как ягнята в уголке и смотрят на нас большими глазами... Ну а все-таки сколько их, а, Тенгиз?.. Дорогой дядя Гриша, а теперь за здоровье вашего сына, того, который в Тбилиси уехал. Выпьем за то, что он там, а мы сидим здесь и пьем за его здоровье... И выпьем за наше знакомство, и да благословит его бог...

— Спасибо, Гурам-Гурам. Пусть будет больше таких парней в нашем краю. Мне приятно, что вот ты, городской парень, а так любишь горы и люди здешние по душе тебе. А больше всего мне в тебе нравится то, что ты в бога веруешь, хотя сам и оттуда, снизу...

Гурам добро улыбнулся. Взглянул на Тенгиза.

— Тенгиз уже пьян... да и я...

— Ну, а теперь можно и отдохнуть? — понял старик.

Гурам любовно и почтительно склонил голову. Никак он не соглашался подняться наверх — не беспокойтесь, нам и здесь хорошо, — но как он ни упрямился, Гурама и Тенгиза устроили на верхнем этаже.

Утомленные подъемом ребята сразу уснули. «Гурам-Гурам, хороший парень... Гурам-Гурам...»

На нижнем этаже погасили свет.

* * *

— Что так рано встал, Гурам?

— Привык, дядя Гриша.

— О-о... Хорошо это. Здесь ручей течет, Гурам, умойся, если хочешь.

Гурам спустился вниз. Умываясь, услышал звон колокольчиков. Сванские девушки гнали пестрых коров. Лали вынесла ему чистое полотенце, а Гурам все глядел в сторону.

— Раста большая, Лали.

— Куда смотришь, Гурам-Гурам, на тех девушек?

Гурам взглянул на Лали, улыбнулся и сказал:

— Я их сейчас сфотографирую.

— А зачем?

— Как зачем?.. Посмотри, как они красиво поднимаются. Девочка взглянула на девушек, а потом на Гурама.

— Да ну...

Гурам вынес фотоаппарат и побежал догонять женщин.
«Как хорошо он бежит», — подумал дядя Гриша. Гурам догнал девушек и совсем неожиданно для них щелкнул камерой.

Заволновались юные сванки, огорчились. Если бы мы знали, оделась бы получше, а сейчас на кого мы похожи, не мог предупредить заранее, — говорили они, отряхивая платья и поправляя платки.

«Не мог предупредить заранее...» — умирал со смеху Гурам.

— Напрасно прихорашиваетесь, не будет он больше снимать, — низким голосом сказала одна девушка.

Гурам взглянул на нее: «Какая красивая, какие гладкие волосы и стройные ноги...». Девушки отвернулись и со смехом погнались скотину.

Гурам не удержался и крикнул:

— Как зовут тебя, девушка?

Все обернулись сразу. Глаза девушки с гладкими волосами встретили взгляд Гурама. Лукаво посмотрела девушка на парня. Проговорила, словно с укором:

— Малула.

— Малула... А меня — Гурам.

— Вот и хорошо, буду знать, Гурам-Гурам, — ласково, слегка насмешливо проговорила девушка. Подружки залились смехом.

«Малула, Малула...»

Во дворе Харdziани роилась детвора. И Гурам все снимал и снимал этих чумазных, красивых ребят.

* * *

К вечеру у дяди Гриши закололи телку. Горячие, свежеспеченные хлебы благоухали рядом с белоснежным сулгуни и молодым влажным тархуном. Пригласили соседей. Молодежь затеяла танцы.

— Что, Гурам, идешь завтра?

— Пойду, дядя Гриша.

— Не надо, Гурам, один ведь ты у матери...

— Нет, дядя Гриша, не поднимусь — умру... Мать не знает... обманул я ее. Сказал, в местийском музее фотографии буду переснимать. Часто я обманываю мать, но что делать...

— Гурам-Гурам, иди потанцуй!

Гурам танцует. Танцует он хорошо, и пожилым сванам это нравится. Они радуются и приговаривают: «Да будут благословенны его родители, совсем наш парень, настоящий сван».

Парни и девушки хлопают в ладоши и громко поют...

Гурам танцует, Малула танцует. Гурам и Малула танцуют вместе.

— Малула!

— Что?

— Почему тебя зовут Малула?

— Не нравится?

— Как ты можешь не нравиться, Малула?!

Девушка зарделась.



ՀԱՅԿԵՅԱՆ
ՅՆՆՆՈՐԴՈՅՅ

— Я люблю тебя, Малула...

Громко играют и поют парни и девушки.

— Малула!

— Что?

— Знаешь, у меня сын есть...

Молчит Малула.

— И жена, Малула...

Девушка все молчит. Смотрит в глаза Гураму.

— Я очень люблю своего сына, Малула.

Еще громче играют парни и девушки.

— Ты пьян, Гурам-Гурам.

— Да, пьян твой Гурам...

— Ты не мой...

— Люблю тебя, Малула. Вчера только понравилась, а сегодня уже очень люблю.

— Ну и дурень ты, Гурам-Гурам...

Парни и девушки не унимаются. А один, тот, что стройнее и красивее всех, вдруг разнимает в танце Гурама и Малулу...

Гурам совсем не обиделся, уступил парню и вышел из круга. Потом и совсем покинул танцующих. Окутанные табачным дымом пожилые сваны играют на волынке. А в небе плывет и сама чем-то похожая на волынку луна.

— Не ходи, Гурам, опасно...

— Должен я, дядя Гриша, не поднимусь на Шхару — умру!

Раскраснелись щеки у Малулы — прямо в глаза смотрит она высокому свану.

* * *

— Хозяин, откроешь нам?

— Входите, пожалуйста.

Высокий старик оглядел парней при свете луны.

«...Наверное, устали и голодные ...» — хозяйка накрыла на стол. «Увидимся в будущем году».

Не сдержал своего слова Гурам-Гурам.

Перевод Виктора ХЕЛАДЗЕ



Я родился в Тбилиси, в 1950 году. Окончил филологический факультет Тбилисского университета. Первый мой рассказ появился в печати в 1966 году, в журнале «Цискари», где я печатаю по сей день рассказы, а также стихи.

Пишу пьесы, которые ставятся на сценах театров Марджанишвили, Руставели, театра-студии киностудии «Грузия-фильм», некоторыми театрами РСФСР. Пьеса «Старый вальс» была поставлена и за рубежом — в Чехословакии.

В этом номере «Литературной Грузии» мои рассказы впервые публикуются в русском переводе.

ПРОЩАЙТЕ, СУДАРЫНЯ!

Необозримое поле. Под большим ясенем накрыт стол. Среди собравшихся на званый обед мужчин в черных чохах и женщины в длинных платьях особенно выделяется юная девушка с оголенной шейкой. Она с улыбкой смотрит на склонившегося к ней корнета...

Фотография была старая и потертая. Я ее обнаружил в бабушкином архиве и сразу заинтересовался этой девушкой. Оказалось, что в молодости они с бабушкой были подругами. Девушку звали Саломэ. Шестилетним мальчиком я без памяти влюбился в эту девушку и очень ревновал ее к корнету.

Шел веселый чистый снег.

Я проводил бабушку и собрался уходить.

— Гня, если сможешь, зайди за мной через два часа. Я встречу Новый год и уйду. Сможешь?

— Чет, я потом подойду. Но...

— Может, остался бы со мной?

— Мне подняться?

— Ты ведь не успеешь за два часа соскучиться с моими старухами?... — Она просительно посмотрела на меня.

— Хорошо, пойдем.

Бабушка поцеловала меня в лоб.

— Представляю, как они удивятся! Между прочим, ты знаешь, кто сегодня будет у Нонны?

— Кто?

— Калбатони Саломэ. В которую ты был влюблен.

— Что-о?

— Помнишь фотографию?

Меня охватило ощущение, будто я вновь услышал мелодию, запомнившуюся еще в детстве и теперь забытую.

За небольшим столом сидели пожилые женщины. Опять они — вспомнил я фотографию... Опять длинные платья. Не было только ясеня и усатого корнета.

«Корнетом буду я». Я приложился к ручке каждой из женщин.

Их очень обрадовал мой приход, обрадовал и удивил. Бабушка улыбалась, гордая и счастливая.

Мы сели за стол. Комната была маленькая и уютная.

— А где Саломэ? — спросила Танит.

— Наверное, вертится перед зеркалом.

— Ох, Саломка, Саломка, осталась такой же взбалмошной, — проворковала Эленэ.

— Она и не подозревает, что здесь ее поджидает старый поклонник.

— Как? — удивились женщины.

Бабушка рассказала историю с фотографией. Стало весело.

Раздался звонок, и старушки всполошились.

— Саломка, Саломэ!

В это время я стащил один бутерброд. Женщины еще не собирались кушать, а я был голоден как волк.

В комнату вошла миниатюрная женщина с гордой осанкой. Она оглядела комнату, и взгляд ее скользнул по мне.

Положив бутерброд, я с полным ртом склонился над ее рукой. И это та самая девушка с оголенной шейкой, которую я любил!

Саломэ изящно присела на стул и вступила в общий разговор.

Она сидела выпрямившись, как королева, не касаясь спинки стула.

«Интересно, долго ли она продержится в таком положении?» — подумал я и тоже выпрямился. Но меня хватило не надолго, и я опять привалился к спинке стула.

Нонна вспомнила историю с фотографией. Саломэ улыбнулась.

— Представляю, как с нами скучно...

— Гне! — напомнил я свое имя.

— Я помню ваше имя.

— Нет-нет, я не скучаю.

— Вот и прекрасно, если не скучно.

Нонна принесла гитару. Саломэ взяла несколько аккордов.

— Просим, Саломка, спой что-нибудь!

— Если этот юный рыцарь не против...

— Что вы, ради бога...

— Не выпить ли сперва нам немножко?

— Боже, совсем забыла! — вскочила хозяйка.

Меня пробрала дрожь, когда внесли бутылку ликера.

— Гию мы не ждали, поэтому у нас только это коньяк есть, но, наверно, Гия коньяка не пьет, к тому же, боюсь предложить гостю начатую бутылку.

«Не надо бояться», — чуть не застонал я. Но тут бабушка вывела меня из этого положения.

— Ничего, в честь Нового года может выпить.

При виде коньяка мне стало легче. Саломэ вдруг резко ударила по струнам и, повернувшись ко мне, запела старинный русский романс:

— Мальчик ты мой дерзкий...

К ней присоединилась Танит, запевшая тонким, блаженным голосом. Пели прекрасно. Бабушка заискивающе смотрела мне в глаза, доволен ли я.

Саломэ перестала играть так же неожиданно, как начала, и улыбнулась:

— Гриф на гитаре поднят слишком высоко, заболели пальцы. Теперь, Гия, скажи что-нибудь.

— Слушай, Тамрико, — сказала Эленэ бабушке, — Саломка кокетничает с твоим внуком.

Бабушка рассмеялась.

— А помнишь, как она мучала Левана Цицишвили?

— Вовсе не мучала, — обиделась Саломэ.

— Нет, мучала! — отрезала Эленэ.

Саломэ побледнела.

— А я помню, что, когда ты узнала о его гибели, даже бровью не повела.

— Как не стыдно, Ленико, — стала уговаривать ее бабушка, — Саломэ очень переживала.

— А он с ума сходил из-за нее! — упорствовала Эленэ. Видимо, этот самый Леван Цицишвили нравился ей самой.

— Я согласна с Саломэ, — своим тонким голосом произнесла Танит.

— Что ты говоришь, Натико! — возмутилась Эленэ.

«Эге, кажется, сводятся счеты полувековой давности», — подумал я и встал.

— Сударыни, прежде чем принести вам поздравления с Новым годом, я бы хотел выпить за вас.

На голодный желудок выпитое действовало быстро...

— Сядьте, пожалуйста, около этой голубой чашки, она вам так идет! — сказала мне Саломэ.

Я перебрался на другой стул.

— Знаете, как зовет меня Гия? — сказала бабушка.

— Как?

— Осколок ренессанса.

Саломэ приуныла. Она отложила гитару и отпила ликер. Сидела она по-прежнему очень прямо.

— С вашего разрешения я закурю, — обратился я к женщинам.

В волнах табачного дыма поплыли их усталые, морщинистые лица...

Однажды я открыл бабушкин сундук и почувствовал тайный аромат прошлого, исходящий от хранящихся там бесчисленных предметов. С тех пор этот аромат навеивает на меня легкую печаль. Сейчас я ощутил что-то вроде этого.

Старушки в чем-то чувствовали себя виноватыми передо мной, особенно бабушка. Я утишил тосты. Женщины слегка омянулись и загрустили.

Я поднялся, завел патефон и поставил какую-то пластинку.

Захрипела старинная мелодия вальса.

Я по очереди приглашал всех. Осторожно вел по неровному паркету, боясь, как бы не отдалить кому-нибудь ногу. Пригласил и бабушку.

— Тебе не скучно? — шепнула она мне на ухо.

— Нет, наоборот.

Женщины помолодели от вальса и выпитого ликера. Бабушка тоже стала какой-то другой. Такой я ее еще никогда не видел, «Бабушка, бабушка!» — подумал я, целуя ей руку. Проводил ее до стула и, как давешний корнет, склонил голову перед калбатони Саломэ. Запыхавшиеся, раскрасневшиеся старушки расселись за столом и смотрели на нас. В комнату опять просочился забытый аромат. Она и впрямь чудесно танцевала, лишь слегка покачиваясь от старости и выпитого ликера.

— Скорее, скорей, — засуетилась хозяйка, и ударил новогодний гонг. Раздался звон рюмок, пошли объятия, поцелуи и пожелания. Женщины прослезились.

Расцеловавшись со всеми поочередно, я выпил еще рюмку. На улице стреляли.

— Новогодняя канонада, здесь всегда стреляют, — улыбнулась Нонна.

С пьяной головы я решил сделать дамам приятный сюрприз, чтобы они почувствовали присутствие мужчины. Я вытащил стартовку и, улыбаясь как дурак, разрядил обойму в потолок.

Старушки чуть не попадали со стульев. Бабушка не могла отдышаться от испуга и чувства неловкости за меня.

— Разве можно так неожиданно, Гия? — запинаясь, сказала она мне и попыталась улыбнуться.

Только Саломэ осталась довольна, сказав, что эта стрельба пробудила в ней приятные воспоминания.

Вскоре я развез всех по домам, а затем отправился кутить со своими друзьями.

Шел веселый чистый снег.

Миновала зима, необыкновенно снежная для Тбилиси, и весенние ароматы, кружащие головы, казалось, заставляли быстрее бежать застоявшуюся в жилах кровь.

Я полюбил одну девушку, но не осмеливался познакомиться с ней. Спешить не хотелось, это было увлекательное время неизвестности.

В один из весенних вечеров нам с товарищем пришлось побывать на кладбище. В лабиринте мраморных надгробий, поч-

ти у самого выхода я краем глаза заметил вставленную в обтесанный камень фотографию восхитительной женщины.

На камне не были высечены даты рождения и смерти, и это понятно: калбатони Саломэ не любила, когда вывешивали ее возраст.

ТЕРАНГ

Этот огромный дом со множеством окон отстоял довольно далеко от трассы. Сперва нужно было пересечь обширную поляну, потом идти редким лесом по узкой тропинке, и, наконец, поднявшись по длинному мощенному камнем подъему, вы упирались в деревянный забор, за которым возвышался высокий безвкусный «дворец».

Параллельно трассе пролегалa железная дорога. Чуть дальше находилась маленькая станция, и отсюда вполне можно было добраться до Тбилиси за полтора часа, если, конечно, поезд снисходил до остановки.

Эта дача принадлежала «семье с традициями». Она была построена еще в пятидесятых годах основателем «древнего» рода Константинэ Сабанадзе. Этому Константинэ¹ десницы никто не отсекал, и завистники не пеняли ему за добротню построенный дом. Почтенный Константинэ Сабанадзе отошел в мир иной в окружении детей и многочисленных родственников.

Наследники не смогли даже продать дачу. Они не очень жаловали ее своими посещениями и, наконец, вызвали из деревни дальнюю родственницу, старую деву, чтобы оказать ей доверие: смотреть за домом. Старую деву звали Анной. Единственным человеком, разделившим ее одиночество, был слепой племянник Анны, семнадцатилетний юноша по имени Теранг.

История этого странного имени проста: в одной деревне жили две сестры. Старшая — добрая и некрасивая Анна. Младшая — добрая и красивая Цинара. И жил в этой деревне почтальон с красивыми усиками по имени Бессарион. Цинара и Бессарион понравились друг другу, поженились, и родился у них ребенок, которого Бессарион окрестил Терангом, после того как посмотрел в городе популярный американский фильм. Тут бы и сказке конец, но скоро все поняли, что ребенок родился слепым.

К тому же Бессарион начал пить. Вскоре у него появилось убеждение, что пенсии, которые он должен разносить, пригодятся больше ему, чем богом забытым старикам в богом забытой деревне. И Бессариона посадили. Цинара терпеливо ждала возвращения мужа, но неуемный Бессарион после освобождения махнул в Среднюю Азию, осчастливив семью письмом такого содержания: здесь, мол, мне лучше; я женился; если что-нибудь понадобится — не стесняйтесь, сообщите.

¹ Константинэ Арсукидзе — строитель собора Светицховели, которому, по преданию, отсекали правую руку.

Цинара стала сохнуть, потом заболела и слегла. Перед смертью к ней подвели пятилетнего сына, но она даже не посмотрела на ребенка. Умирала она, отвернувшись лицом к стене.

Анна взяла на себя его воспитание, а тут еще Сабанадзе со своей дачей...

Внук Константинэ Сабанадзе, Гиви, подобно конкистадору, налетал со своими друзьями на эту забытую дачу. Такие дни оставались в памяти слепого юноши яркими воспоминаниями: крики, смех, звук бьющейся посуды, магнитофонная музыка и шесть кабаллистических звуков — «Одесса» — туда отвезет его Гиви, и он станет видеть.

Существует восхитительный город — Одесса, где слепому возвращают зрение, где все, как в сказке, и где, как поет Гиви:

«Бокалы всем налиты,
И женщины танцуют до утра!»

Сегодня мальчик вдоволь набегался по поляне, все туда и обратно, туда и обратно. А когда запыхался, тихо смеясь, лег навзничь в высокую траву и раскинул руки. Он долго не двигался, голова кружилась от сильных запахов. Он любил прыгать с разбегу в кромешную тьму. Тогда что-то начинало мерцать в мозгу, и мальчик всеми силами старался поймать это ощущение.

— Теранг! — слышалось издали. Он встал, старательно отряхнул одежду (на нем были сильно потертые джинсы и коричневая сорочка — подарок Гиви) и уверенно пошел по тропинке к дому. Она вела через лес по склону прямо к скрипучим воротам.

— Теранг!

— Я здесь, мама Анна! — ответил Теранг и вприпрыжку побежал по лестнице.

— Я здесь, мама Анна! — повторил он, входя в комнату, но она была пуста, здесь не было маминого запаха. Быстро пройдя несколько комнат, Теранг вошел в столовую.

— Опять бегал, да? Боже, как ты вспотел!

— Сегодня приезжает Гивико. Как я рад!

Анна усмехнулась и, подойдя к мальчику, провела рукой по его волосам.

— Вода горячая. Искупайся, когда остынет. И надень костюм, галстук на стуле.

— Ага.

— Не «ага», а «хорошо», — поправила тетя. Она много читала и не любила в его речи деревенских словечек.

— Хорошо! — с готовностью повторил мальчик и улыбнулся пространству.

Тетя прослезилась и, пытаясь сдержаться, начала рыться в большой сумке.

— Почему ты так часто стала плакать? — спокойным голосом спросил юноша и почувствовал ее замешательство. — Я вот никогда не плачу, — твердо сказал он.

— Вспомнила твою мать. Какая она была красавица! Ты очень на нее похож.

Юноша рассмеялся.

— Значит, если бы я был уродом, ты не плакала бы?

— Ну полно тебе, перестань! — сказала тетя. — Да, полпятого по радио передают «Кбача опоздал»¹.

Юноша тронул стрелки часов. «Кбача» был его любимым рассказом.

— Я еду в город, вернусь завтра утром и...

— Для чего тебе ехать в город?

— У Сабанадзе банкет, надо помочь. Будь умником; во время ложись спать и не связывайся с приятелями Гиви. Какие они тебе друзья? Так напоили в прошлый раз!..

— Ага... Хорошо, — быстро поправился он, вспомнив тетино замечание. Потом нащупал ее сумку. — Я провожу тебя. Облившись теплой водой, он облачился в праздничный костюм и долго бесцельно бродил по лабиринтам дома. По радио передавали «Кбача опоздал», он знал рассказ наизусть, но слушал его очень внимательно. Потом со стоном произнес по слогам: «О-дес-са».

Вечерело, и с поляны подул теплый весенний ветерок. Юноша спустился во двор, широко раскрыл ворота и, подстелив платок, осторожно присел на пень. Слышен был только шелест листьев и дальний перестук колес поезда. Он весь превратился в слух. Вскоре послышалась речь и потом — дикое гиканье Гиви. Юноша вздрогнул и привстал.

— Вот он, Гивин дворец!

— Да, любезный друг. Ну и караван-сарай отгрохал твой дед! Дорогу, небось, поленился построить! Теперь машины приходится оставлять на поляне.

— Сегодня кутим здесь. А завтра будем там...

— Нана, кассеты у тебя?

— Понеси эту проклятую сумку, чуть руку мне не оторвала.

— Шампанское надо опустить в колодец.

— Ну-ну, шевелитесь, жертвы эмансипации!

— Как живешь, Теранг? — Гиви, разговаривая с ним, всегда переходил на деревенский говор.

— Хорошо. Все уже готово.

— А тетка твоя?

— Она поехала к вам, помогать.

— Довольно болтать, Гиви, скажи лучше, что делать.

— Знакомьтесь, Теранг — мой родственник.

— Знакомы.

— Очень приятно.

— Мы много слышали о вас от Гиви.

Он пожимал мужские и женские руки.

— Быстро за дело.

Вскоре, через какие-нибудь два часа, накрытый в холле стол был похож на поле сражения. Часть гостей танцевала, другая часть продолжала пить. Несколько девушек напряженно слушали сидящую в кресле подругу. Она с большой серьезностью гадала на кофейной гуще.

— А ты разве не гадаешь, Гиви?

¹ Рассказ Михаила Джавахишвили о слепой девушке, которой возвратили зрение.

- Гадаю.
— На картах или на кофе?
— Макая карты в кофе.
— Я хочу выпить один тост...
— Ладно, отстань хоть ненадолго, все равно ничего по-
вого не скажешь.
— Нет, я хочу выпить за мужские слезы.
— Подумайте, как интересно!
— За скупые мужские слезы...
— Тинико, твой муж совсем тронулся.
— Эти слезы дороже золота, их очень редко можно увидеть, потому что вызывает их что-то особенное...
— Я не я буду, если не заставлю тебя сегодня ночью пролить их в три ручья. Вот когда разбогатеем!
— Хватит, Тинико. Да здравствует Грузия, за нашу родную землю!..
— Заткнись, сволочь, не тебе говорить о Грузии, барыга, мать твою...
— Гела, Гела, что с тобой?.. — Женские вскрики, возбужденные голоса парней: — Нож, отнимите у него нож!
— Патриот, тоже мне, за джинсовку родину готов продать.
— Ладно, кончай, ты тоже не Цотнэ Дадияни¹. Шквал ругательств, какой-то треск.
Теранг растерянно стоял в углу комнаты.
— Гела, Гела, ударь меня, только успокойся!
— И тебе подвалю, будь покоен.
— Кончай, Гела, а то вправду схлопочешь, — это голос Гиви.

Потом все успокоилось, выпили длинный тост за примирение, последовали долгие уговоры и поцелуи.

Гиви, шатаясь, встал и потребовал гробовой тишины, затем наполнил большой кубок и обнял Теранга одной рукой.

— Я хочу выпить за моего кристального парня, за моего брата, за моего Теранга!

Гиви превозносил его до небес, а затем клятвенно пообещал гостям отвезти его в Одессу и сделать операцию глаз. Вытирая рукавом подступившие слезы, он расцеловал Теранга. Гивины приятели говорили с не меньшим красноречием, обещая никогда не давать слепого парня в обиду. Какая-то девушка сказала: «Какой красавчик!» — и поцеловала ошеломленного Теранга в губы.

Выпив, Гиви как подкошенный свалился на стул. Теранг, поблагодарив, немножко отпил из поданного кубка.

— Оп-оп-оп! Так нельзя, «благодарственную» надо выпить до дна.

Теранг пригубил кубок и медленно выпил его до дна. Гости одобрительным гиканьем встретили его героизм. В это время отворилась дверь, и в холл вошли длинноволосая девушка и кражистый молодой человек с деловым видом.

— Мери, как хорошо, что ты пришла.

¹ Национальный герой, борец против монгольского ига.

— Куда ты пропала?
— Еле вас нашла. Знакомьтесь, мой друг. Твое имя, дорогой?..

— Вальтер... Вальтер... Очень приятно...

Он мощно потряс руку Гиви:

— Вальтер.

— Пар-рабеллум! — пробормотал Гиви и опустил голову на тарелку.

— Мы познакомились в дороге, — сказала Мери.

Вальтеру подали штрафной бокал. Он отказался, извинившись, что за рулем, но долго упрямить себя не заставил и выпил вино одним духом.

Теранг вышел из комнаты. Он не привык к галдежу и табачному дыму. Вино вызвало у него головную боль. Он открыл дверь в свою спальню и услышал вскрик девушки.

— Не бойся, это слепой, — хриплым шепотом сказал мужской голос.

Теранг закрыл дверь и, войдя в комнату тети, лег на тахту. Из холла доносились ритмичная мелодия и глухой ропот. Незаметно пришел сон. Кромешная тьма, далекое мерцание. Чей-то рев: «Теранг!». Мальчик быстро вскочил и, накинув пиджак, побежал в холл.

— Будь другом, принеси спички, ни у кого не осталось.

— Сейчас, — Теранг побежал на кухню и принес две коробки. — Это все что есть...

— Расти большой, — ответил голос, его хлопнули по плечу.

— Гела, честно, я должна идти.

— Никуда ты не пойдешь.

— Гела, мама с ума сойдет.

— А когда она была нормальной?

— Гела...

— Нет!

— Теранг, выйдем, пожалуйста, на минутку, — попросил его чей-то трезвый голос. Вышли во двор. Незнакомец положил ему руку на плечо.

— Мне надо идти. Когда Гиви протрезвеет, скажи, что Ачико не мог больше ждать. Ладно?

— Обязательно передам.

— Я еще хотел сказать... Не водись ты с ними. Не думай, что в городе все такие. Не должен был я приходить, но Гиви так пристал... Он хороший парень, жаль только, потерял свое лицо. Ты не обиделся?

— Обиделся.

— Ничего не поделаешь, я разболтался, как баба. Честно говоря, и я не лучше... Ну, прощай.

— Счастливо.

— Да, зачем тебе ехать в Одессу? Не лучше ли для начала показаться тбилиским врачам?

— Гиви сказал, в Одессе лучше.

— Завтра Гиви забудет про это. А ты не стесняйся ему напоминать... Что, поездов сегодня не будет?

— Сейчас уже нет.

— Ну ладно, это не проблема. Проголосую на шоссе.

В холле было относительно спокойно. Медленно двинулись крепко обнявшиеся пары.

— Тоже мне, танец! Хватит вам! Пить, так пить!

— Гиви проснулся? — сказал Теранг в пространство.

— Его не добудишься теперь до утра.

Теранг затворил дверь и вышел во двор. Было прохладно. Часы пробили три. Шум в холле на секунду смолк, затем все разом загалдели.

— Что случилось? Кто выключил свет? У кого спички? Фу ты, черт! Кажется, во всем доме нет света. Мамочки, совсем ничего не видно! Скрылась луна, и звезды померкли... Нашел время стихи сочинять! Люди, что творится? Разбудите Гиви! Да, теперь его разбудить... Что делать? Ой, кто-то на меня налетел. Кто меня ударил ногой? Не двигайтесь, а то покалечим друг друга. Позовите слепого, как его там... Такое забористое имя...

— Теранг! Да, Теранг! Теранг!

Теранг взбежал по лестнице.

— Что случилось? — спросил он встревоженно.

— Как, что случилось? То ли свет перегорел, то ли отключили.

— Ему это безразлично.

— Что ты можешь сказать?

— Мы подключены к заводу; если там отключили свет, то его не будет до утра.

— Где этот проклятый завод?

— Далеко.

— Ой, мамочки!

— Хватит скулить!

— Как же мы отсюда выберемся?

— Ох!

Кто-то налетел на стол. Зазвенела посуда. Кто-то наступил на бутылку и упал. Холл наполнился криками и матом. Теранг суетился в беспомощной куче.

— Не подходите сюда, здесь низкое окно. Оставайтесь на местах. Дайте руку, так. Отойдите, не бойтесь, здесь стена. Садитесь, тахта длинная, поместитесь все. Вот еще кресло: туда нельзя, там окно.

— Теранг, а мы?

— Сию минуту, только не двигайтесь, я вас всех найду. Из комнаты верхнего этажа слышались взволнованные голоса.

— Сейчас! — крикнул Теранг.

— Сперва кончай тут, они подождут.

Теранг кружил по комнате. Он был счастлив.

— Иду! — отозвался он на голоса, доносившиеся сверху.

— Ты куда, на кого ты нас оставляешь?

— Теранг, Теранг, спускайся скорее!

Мальчик взлетел на верхний этаж.

— Кто это?

— Теранг.

— Что произошло?

— Отключили свет.

— Как же нам отсюда выбраться?



941936320

— Я вам помогу.
— Как, ты? Ах да, ты прав.
— Возьмите меня за руку.
— Ты где?
— Здесь. Дайте руку, вот так, — худая женская рука впилась в мужскую руку вцепилась в него. — К вам тоже приду! — крикнул Теранг в коридор, из которого доносились голоса.

Скоро все собрались вокруг тахты.
— Может быть, Теранг проводит нас к автомобилям?
— Пятнадцать человек?
— И Гиви упился...
— Подождем до рассвета.
— Если зажжется свет, пройдем через лес, а на поляне автомобили найти очень легко.

— Да, если зажжется.
Воцарилась гнетущая тишина.
— Ой, не могу, не могу, нечем дышать! — вскрикнул истерический женский голос. — Помогите, не могу дышать! А-а-а!... — Послышался грохот падающей посуды и звук падения тела. Теранг кинулся на звук, но сам задел бутылки и едва удержался на ногах.

— А-а-а!...
— Успокойтесь, успокойтесь! Вы не порезались?
— Я задохнулась в комнате. Ой-ой-ой! — девушка дрожала у него в руках.

— А ну, дай ей по щекам, чтоб не выкаблучивалась, — сказал чей-то ленивый голос.

— Задыхаюсь! Воды, воды!
— Пожалуйста, пойдемте к тахте, я вам сейчас принесу воды.

— Истеричка несчастная, — сказал по-русски ленивый голос.

Теранг насильно усадил девушку на тахту.

— Да она царапается! Убери руки! — возмутились голоса. Мальчик побежал на кухню и скоро вернулся с полными кувшинами в руках. Он передал их расстроившейся компании. Девушка успокоилась, она тихо всхлипывала.

— Теранг, — позвал неуверенный женский голос.

— Я здесь.

— Ты не проводишь меня до туалета?

— Конечно, конечно, — растерялся Теранг.

— Где ты?

— Здесь, дайте руку.

— Ты подожди здесь, не уходи, а то страшно. — сказала она.

— Что вы, я никуда не уйду.

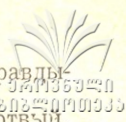
Несмотря на его заверения, девушка заговаривала с ним каждые десять секунд, чтобы убедиться в его присутствии. Его уже звали из холла.

Теранг нашел веник и подмел усеянный осколками пол.

— Сигареты остались?

— Огня нет, огня.

— Хоть магнитофон включите.



— Кретин, света нет.

— Я думал, он на батарейках, — равнодушно оправдывался голос.

— Сейчас зажжется свет, а один из нас лежит мертвым. Английский детектив.

— Перестань, Гела, мне страшно.

Опять тишина. Все успокоились, большинство уже задремало.

— Бух! — вдруг пьяным голосом проревел Гела.

Раздались вскрики девушек, да и не только девушек, кому-то стало плохо. Гела через некоторое время захрапел. Теранг встал, открыл дверь и услышал тихий голос. Он быстро поднялся по лестнице. Голос доносился из его комнаты.

— Э, что здесь происходит?

Мальчик шагнул в комнату.

— Кто это?

— Это Теранг.

— Что за Теранг.

— Родственник Гиви, Теранг.

— Ах да, знаю, ты был внизу.

Пауза.

— Что происходит, отключили свет?

— Да.

— А Гиви где?

— Спит.

— Представляю, какая внизу паника. Меня зовут Мери.

— Очень приятно.

Девушка рассмеялась.

— Который час?

— Полчетвертого.

— Да... — девушка опять зевнула, потом что-то зашуршало. — Ты где?

— Здесь.

— Где здесь?

— Около двери.

— К чему стоять, иди сюда, присядь.

— Меня ждут.

— С ними ничего не случится. Насколько я помню, ты довольно мил. Помоги мне встать.

Теранг подошел к постели и протянул руку туда, откуда слышался чудесный запах. Он ощутил нежное пожатие, и вдруг Мери с неожиданной силой дернула его за руку. Теранг кувыркнулся в постель. Мери со смехом искала его губы.

— Теранг, Теранг, — шептала она. — Хочешь, буду твоей Мерамой¹? Мери-Мерама... Сними пиджак. Что ты меня мучаешь? Ты же большой мальчик или все еще играешь сам с собой... Это первый раз, правда?

— Нет, — соврал Теранг. Гиви часто обещал ему, что приведет женщину. Послышалось шуршание. Мери снимала платье.

— Ну вот... — Она крепко прижалась к Терангу. — Не бойся, пу!

¹ Мерама и Теранг — герои американского фильма «Ураган».

Они долго лежали, не шевелясь, чуть соприкасаясь локтями.

— Хороший ты парень, Теранг... И я неплохая девушка, верно? — грустно спросила Мери.

Теранг прочистил горло.

— Я вас люблю.

Девушка спокойно засмеялась в темноте.

— Очень приятно. Кто знает, может быть, я тоже полюблю тебя когда-нибудь... — она нежно щекотала его грудь.

Терангом овладел нервный смех. Снизу слышались крики: «Теранг! Теранг! Куда он делся? Эй, Теранг!».

— Надоели, — недовольно проговорила девушка. Она крепко обнимала его. — Ты хороший, хороший!

— Теранг! Где он? Эй!

— Зовут, я нужен внизу.

— Хорошо, пойдем, — вздохнула Мери. Она быстро оделась. На лестнице Мери несколько раз крепко поцеловала его.

— Вы еще придете?

— Не знаю, мой милый, может быть. Может быть, именно потому, что ты по-прежнему обращаешься ко мне на «вы».

Теранг подвел Мери к тахте. Потом принес кому-то воду. Наконец он присел сам, найдя ее запах, протянул руку и погладил ее волосы.

— Кто это амурничает в темноте? — сказал чужой голос. В холле раздался смех. Теранг отпрянул.

— Теранг, ты можешь узнать, который час?

— Сейчас. — он коснулся стрелок пальцами. — Без двадцати четыре.

Раздалось громкое гиканье. Все разом вскочили. Дом наполнился радостными возгласами, и Теранг понял, что дали свет.

— Скорее пойдемте, как бы опять не отключили.

— Как быть с Гиви?

Голос Гелы: «Я понесу его на спине». Пыхтение: «Настоящий комод».

Кто-то включил свет во всех комнатах. Все высыпали во двор. Теранг шел наугад, путаясь у них под ногами.

— Ну пока, Теранг, — услышал он чей-то голос.

— Я провожу вас, — быстро ответил он.

Он бежал за запахом любимой женщины, но, видно, теми же духами были надушены еще несколько девушек. Лес прошли быстро. Гелу сменил Вальтер, перевесив через плечо безвольное тело Гиви.

— А вот и наши экипажи! — радостно вскрикнул кто-то. Захлопали дверцы машин. Армия набивалась в «фиаты». Машины с завыванием отъезжали. Теранг перебежал от одной машины к другой, пытаясь найти голос Мери в хаосе звуков. Наконец он бросился на шум автомобиля, раздался скрежет тормозов, кто-то громко выругался.

— Кто это лезет под колеса? А, это ты, — смягчился голос.

— Мери!



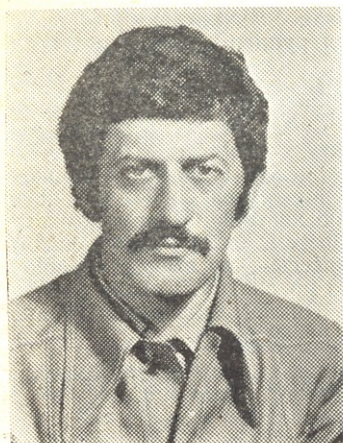
- Кто?
 - Где Мери?
 - Не знаю. Наверно, села в другую машину.
- старина!

Теранг подбежал еще к двум машинам. Мери не было. Машины исчезали в пространстве, веселая «кавалькада» умчалась. Он стоял на дороге. Потом протянул руки и крикнул изо всех сил: «Мери!».

— Мери... Мери... — передразнило эхо.

Теранг, пройдя поляну, вошел в лес. Ветка хлестнула его по лицу. На спуске он подвернул ногу и разорвал штанину. Во дворе Теранг машинально отряхнул одежду и вошел в распахнутые двери «дворца», зловеще светящегося раскрытыми в ночи окнами. Теранг медленно поднялся по лестнице в свою комнату и прилег, оставив дверь открытой. Постель была полна запахом Мери. В памяти всплыли звуки «Одессы», но вместо обычной сладкой дрожи неприятно царапнуло по сердцу. Теранг провел рукой по лицу и понял, что плачет. Он лег навзничь и горько улыбнулся темноте, где ничего уже не мерцало.

Перевод З. ДАРСАВЕЛИДЗЕ и Г. БЕНДУКИДЗЕ.



Родился я в 1945 году в Тбилиси. После окончания школы поступил в Грузинский политехнический институт на факультет автоматике и вычислительной техники. Работал переплетчиком, штамповщиком, слесарем - наладчиком. Учась в институте, увлекся рисованием и был принят вольнослушателем в Тбилисскую Академию художеств. Участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках. Служил в армии. Первый рассказ опубликовал в 1973 году. В настоящее время я студент Литературного института.

НАЧАЛО

Повесть

С того первого дня прошло пятнадцать лет... Точно пятнадцать! Сейчас из событий тех лет в памяти у меня остались всего лишь отдельные воспоминания, смутные, нечеткие и незаконченные, словно вклеенные в семейный альбом пожелтевшие фотографии. Тогда мой отец еще не был для меня тем, чем стал после, а был просто отцом, о котором я, шести-семи-летний мальчуган, бывало, часто и подолгу думал с безграничной любовью и восхищением.

Сегодня в магазинах «Детский мир» продаются игрушки в тысячу раз лучше и разнообразнее, но я упрямо продолжаю думать, что в пору моего детства они, как и все остальное, были более привлекательными и интересными. Мне иногда кажется, что и по цвету они были ярче, насыщеннее. Может быть, потому, что еще не существовало конвейера, каждая игрушка—обладала—своеобразной, неповторимой прелестью, она предоставляла нам свободу выбора... Теперь они, как говорит-

ся, «бездушные». Конвейер лишил всего, и в особенности игрушки, тепла и души, лишил тайны, вложенной в них рукой грешного человека, скрывая под блестящим лаком изъяны, так много говорящие нашим чувствам. Возможно, это звучит странно, но главную причину того, что наши хозяйки предпочитают покупать продукты на рынке, я вижу опять-таки в возможности выбора. Купленный в магазине стандартный по весу и размеру, одинаково упакованный товар лишает людей дара воображения, трудно представить, что у выложенных ровными рядами в холодильнике кур были когда-либо перья и что когда-то они, кудахтая, перебегали со двора во двор.

Точно так же сорванное с дерева яблоко вкуснее во сто крат и молодое домашнее вино не сравнить с марочным, удостоенным двадцати медалей.

Подражание, точнее копирование, никогда не привлекало мыслящего человека. Я много думал об этом... Лет через двадцать к конвейеру, наверно, специально приставят художников, чтобы они стандарту придавали черты оригинальности. А пока что «бездушная» продукция катастрофически накапливается.

Купив новую игрушку своим племянникам, я испытываю странное волнение, и мне вспоминается мое детство. Современные дети напрочь лишены первозданной любви к игрушке и радости обладания ею. Мне кажется, что подарки, которые мы делаем малышам, куда больше забавляют и радуют нас самих. Дети же нехотя примут наши дары, повертят их в руках (скорее для того, чтобы не обидеть нас), лениво зевнут и в душе, должно быть, подивятся наивности взрослых. «Прекрасная игрушка!» — скажут они опять-таки из вежливости и вновь займутся своими делами.

— Хотите, повесим качели или пойдем в зоопарк, — делаешь ты последнюю попытку и прикрываешь свою растерянность наигранной бодростью. И получаешь в ответ красноречивый взгляд: мол, есть же на свете такие лодыри и бездельники! Дети равнодушно, спокойно вздохнут и уткнутся в учебник французского языка или нотную тетрадь...

Возможно, здесь простое повторение: мой дед не понимал моего отца, отец не понимал меня, и я, в свою очередь, никак не могу понять последующего поколения. Вот я сказал — игрушки потеряли свою прелесть. Не нравятся они нашим детям. Что же здесь непонятного? Почему это нас возмущает? Мы сделали для них почти все, о чем сами мечтали в детстве, но этим мы ведь только осуществили собственную мечту, не спросив, нужно ли это им. У них ведь тоже есть свой духовный мир — недостижимый и непознаваемый нами, свои проблемы, неразрешимые для нас и совершенно нам непонятные, гораздо более сильные, чем во времена нашего детства, и настолько же несбыточные желания. Возможно, и, наверно, так оно и есть, иногда и я каюсь им той непреодолимой, последней преградой, которая волею или неволею, препятствует исполнению их желаний. Потому мы и ловим иногда на себе их плохо скрытый, сердитый и беспомощный взгляд пойманного в ловушку зверька. Между нами воздвигнута по-

лупрозрачная, непонятная стена, по одну сторону которой слышатся только приказы, запреты, указания, нудные наставления, по другую же — то плач, то, по нашему мнению, совершенно бесосновательные обвинения. Мы не верим им, они не доверяют нам, и, в лучшем случае, мы поддерживаем молчаливый взаимный нейтралитет.

Однажды, роясь в нашем большом шкафу (неистребима страсть детей к поискам!), ребята обнаружили старый школьный портфель моей сестры Гванцы. Открыли и вместе с испещренным тройками дневником увидели целую пачку фотографий киноактеров. Дневник их очень развлек, а на актеров они даже не взглянули. Гванца, перебирая карточки, со смехом вспомнила, каких трудов стоила ей эта коллекция. Оказывается, за фотографией Гарри Беллафонте она бегала целую неделю и, не сумев нигде купить, выменяла его на Грегори Пекка вкупе с Раджем Капуром и Симоной Синьоре.

— Зачем тебе это надо было? Лучше бы купила на эти деньги мороженое или жвачку, — прервали дети ее рассказ.

Гванца растерялась и не нашлась, что ответить. В отличие от них я, конечно же, был неисправимым фантазером и всегда жил в мире выдуманных мною героев, искренне верил в Айболита и в папу Карло, неперестанно искал Мальвину, золотой ключик и бесчисленное множество раз убегал от страшных преследователей, шлепаясь в лужу Страны Дураков.

По соседству с нами жила пожилая, обездившая свет одинокая армянка. Это была предельно добрая и безобидная женщина — звали ее Люся Павловна. Частенько пекла она восхитительные пирожные и угощала меня ими.

— Вы настоящая черепаха Тортилла, — сказал я ей однажды, восхищенный ее истинно королевским гостеприимством.

Старушка с достоинством приняла мой сомнительный комплимент и щедро одарила сладостями. Упокой, господи, ее добрую душу. Она рассказывала мне грустные сказки, занимательные истории со всякими приключениями и научила меня даже детской французской песенке, которую я, случается, напеваю и сегодня...

Сейчас мои племянники целый день сидят у телевизора или уходят с головой в книгу, а если я прошу их послушать сказку, соглашаются с высокомерной улыбкой. Горы нетронутых игрушек постепенно вырастают во всех углах нашего дома, вытесняя все остальные вещи. Это вовсе не потому, что кто-то бережет их, просто ребятам неинтересно возиться с ними.

— Помнишь? — спросит меня, бывало, старшая сестра, взяв в руки какую-либо игрушку.

— Помню, прекрасно помню!

Наверно, точно так же помнят отсутствие игрушек все дети военного времени.

У нас с сестрой было всего две куклы — Тинатин и Тариэл. Сшиты они были из кусочков холста, а из швов у них сыпались опилки. Целый день занимались мы тем, что набивали их потуже, старались сделать красивее. Лица у кукол бы-

ли нарисованы бледной акварелью, и, когда краска выцветала, мы с удовольствием снова разрисовывали их цветными карандашами, которые стирались, и в конце игры «лица» у кукол были едва различимы. Но таким образом мы пристрастившись к рисованию.

Тинатин была собственностью моей сестры, Тариэл принадлежал мне. Должен признаться, Гванца всегда превосходила меня в умении принарядить куклу, и Тинатин часто меняла платья. А чоха и архалух Тариэла в скором времени превратились в лохмотья. Я на его наряд обращал такое же внимание, как и на свою собственную одежду. И эта дурная привычка осталась у меня и по сей день.

У Тариэла были свой стул и стол, всегда начищенное, готовое к бою оружие. Щит, пистолет, кинжал и саблю я вырезал из еловой коры, когда мы отдыхали в Коджори. В шесть лет я смастерил танк из фанеры, выкрасил в зеленый цвет и посадил в него Тариэла. Спереди у танка торчало опломбированное дуло, а по бокам были нарисованы большие красные звезды. Вот, пожалуй, и все наши развлечения. Проходили недели, месяцы, а мы в основном сидели дома. Редко случалось, что отец водил нас в зоопарк или в цирк. В остальные же дни мы играли в «дом-дом» с Тинатин и Тариэлом, а если не шел дождь и не дул ветер, и не было дома отца, которому мы могли помешать, то в нашем отгороженном от улицы дворике мы бегали и играли в прятки. На второй или на третий день я или сестра обязательно начинали чихать, и тогда мы, как всегда, в теплой постели с термометром под мышкой ждали появления врача. В связи с болезнью в небогатый арсенал наших развлечений добавлялась игра в «доктора». Иногда доктором бывала мама, иногда Гванца, а иногда и я. Мы выслушивали друг друга, мерили температуру и на длинных, узких полосках бумаги писали рецепты. Быть врачом больше подходило Гванце, особенно когда она «осматривала» маму.

— Будьте добры, покажите язык! Теперь повернитесь спиной, я должна вас выслушать. Надеюсь, желудок действует нормально?

— Да, доктор!

— На анализ принесете завтра, в спичечной коробке!

— Хорошо, доктор!

— Не жалуется ли на боли в области желудка?

— Н-н-нет...

— Мне показалось, что вы решили родить еще одного ребеночка, дорогая.

Мама побледнела:

— Что за глупости ты говоришь, разве так играют в «доктора»?

Гванца не стала ждать ответа, незаметно подмигнула мне и вновь повернулась к присевшей на постель маме.

— Мамочка, расскажи, пожалуйста, откуда мы взялись?

— Да, только сначала про меня! — вмешался я.

— Откуда вы взялись? — наш безобидный вопрос застал маму врасплох. Сначала она смутилась, а потом горячо стала убеждать нас: — Мы нашли вас в корзине, в саду.

Гванце в то время, когда меня «нашли» в саду, было уже четыре года, и она все хорошо помнила. Она подробно рассказывала мне о том, как мама долго ходила с большим животом, как ее увезли потом на «скорой помощи», и о том, как она вернулась вместе со мной. Это была одна из самых больших наших с Гванцей тайн. Я верил Гванце и все-таки каждый раз жадно слушал маму. Она удивительно умела рассказывать. Мне иногда казалось, что мама не рассказывает, а рисует красками. Ни о ком никогда не говорила она худо, даже волк у нее получался нежным и безобидным, как овечка.

Помню, как-то раз по радио была передача о Маяковском, и там упоминали о клопе.

— Что такое клоп? — спросил я у отца. Он укоризненно посмотрел на меня, что спрашиваешь, мол, о разных глупостях, скажи лучше спасибо, что не видел клопов, дал мне выучить наизусть какой-то стишок и быстро от меня избавился.

Маму я спросил об этом, когда она уже укладывала меня спать.

— Ты видел божью коровку? — сказала мама. — А клоп более плоский, коричнево-красного цвета. Он быстро-быстро перебирает маленькими лапками.

Мне так понравились эти «маленькие лапки», что на следующий день я нарисовал в альбоме огромного клопа с бесчисленными малюсенькими ножками.

— Подари мне, — сказала мама.

Я с удовольствием приписал внизу: «Клоп — маме» и вручил ей.

Мама бережно взяла у меня подарок и спрятала в «шкаф сокровищ», в котором хранились золотистые локоны, срезанные с наших головок, детские фотографии, молочные зубки и еще множество других реликвий, овеянных воспоминаниями и любовью.

Сейчас мама вновь подошла к «шкафу сокровищ» и достала фотографию младенца, который блаженно возлежал в плетеной корзине и улыбался нам оттуда всеми четырьмя зубами.

— Вот каким ты был тогда...

— Ничего подобного, — горячо возразила Гванца. — Ничего подобного, я хорошо помню, когда усатый фотограф снимал Нику. Эх, да что с тобой разговаривать!.. — Гванцу особенно раздражала моя наивность. — Все тебя обманывают! До каких пор ты будешь таким разиней?..

Я все-таки уговорил маму рассказать увлекательную историю о том, как меня нашли в саду.

Гванца никак не могла понять, почему я так охотно внимаю заведомой лжи. Я и сам не знал этого не только тогда, но не знаю и сейчас, почему меня так завораживал простодушный и красивый мамин вымысел.

— Значит, ты нашла нас в корзине и до этого нас не знала? — вновь перешла в атаку моя сестра.

— Была весна, в воздухе пахло цветами, меня разбудило щебетанье птичек, я вышла на балкон и...

— Это мы уже знаем, — прервала ее Гванца. — Но могли же нас заметить другие?..

— Конечно, могли! Ведь и они хотят иметь детей!

— Тогда лучше снова положить нас в корзины и вынести на улицу, авось, нас заберет еще кто-нибудь...

Мама побледнела, но попыталась превратить все в шутку:

— Может, вы хотите стать детьми дворника Хасана? Я могу отвести вас к нему.

— Вот и ладно! Вот и отведи! — дерзко парировала Гванца.

— Никуда я не уйду от тебя, — сказал я маме, и мне почему-то захотелось плакать.

Гванца стукнула меня по голове и убежала. Я кинулся за ней. Мама поймала нас и помирила.

Хасан со своим многочисленным семейством жил напротив нашего дома в подвале. Дети его, одетые во все пестрое, целый день болтались на улице. Их жизнь проходила у всех на виду. И вот что особенно бросалось в глаза (из наших окон мы могли наблюдать это ежедневно): недюжинное здоровье во всем, что бы они ни делали — и в том, как смеялись, и в том, как плакали (ревели, не стыдясь, когда жена Хасана Вартуш отвешивала им подзатыльники и оплеухи). Хасан часто сажал отпрысков на свой куртан¹ и катал их на спине, а время от времени хмурился для острастки, иногда же украдкой, тайком от детей, обнимал свою пышную супругу и нашептывал ей что-то смешное, и она заливисто смеялась.

Как все это было непохоже на нас! Как завидовали мы «уличному люду». А главное, они не твердили все время детям: не забывайте, мол, кто ваши родители.

Вартуш приходила к нам по воскресеньям мыть полы. Она же делала нам большую стирку. Мама давала ей деньги, а иногда и наши старые вещи, из которых мы вырастали. А какими нарядными выглядели дети Хасана в наших обносках!..

Мы с Гванцей прислонялись лбами к холодному оконному стеклу, и глаза у нас наполнялись слезами.

Сестра училась тогда уже в третьем классе и понимала больше моего, но оба, и я, и Гванца, видели одно: дети Хасана росли свободно и вольно, действительно счастливо, и никто не твердил им постоянно, что вести они должны себя так, чтобы не позорить отца, и им не приходилось никого упрашивать, чтобы их выпустили на улицу (нас же и во двор не всегда пускали), и никто не попрекал их куском хлеба... Одним словом, мы им очень завидовали.

За пределами нашего дома жили «уличные мальчишки» и «уличные девчонки», с которыми нам строго-настрого запрещалось какое бы то ни было общение. И неудивительно, что у нас не было друзей.

¹ Приспособление, вроде подушки, которым пользовались тбилисские грузчики-таскалы для переноса тяжестей на спине.

Однажды, помнится, повели нас на день рождения к сыну одного «большого человека», но перед этим нас накормили и напоили вдосталь лимонадом, чтобы мы в гостях не съели лишнего, специально предупредили, чтобы мы ничему не удивлялись, не шумели, ничего не портили, не капризничали, не «ломались» — и дальше в том же духе. Столько раз повторяли нам: «Не делайте того, не делайте этого», — что у нас отпало всякое желание куда-либо идти. После этого нас выкупали, постригли нам ногти, причесали и вырядили во все новое.

Я никогда не любил новую одежду, не переносу ее и сейчас. Изведешься прямо, пока она «сядет» на тебя так, как следует, к тому же с детства я только и слышал: не садись, не помни, не запачкай и так далее. Хотя почти всегда в первый же день я или рвал обнову, или сажал такое пятно, которое невозможно было вывести. В такие минуты я боялся взглянуть на маму. Нет, она меня не наказывала. Она не произносила ни звука. Метнув на меня быстрый взгляд, она всего лишь поспешно переодевала меня, чтобы не видел отец...

Я боялся ее взгляда... Она смотрела на меня, словно говорила: «Как я тебе доверяла, и вот что ты наделал...». Одним словом, я терпеть не мог обнову...

После долгих приготовлений мы наконец-то вышли из дому, взяли машину и подкатили к дому того человека (если мы шли в гости, отец всегда возил нас на машине, даже когда это было в двух шагах).

На звонок вышел сам хозяин и подчеркнуто любезно провел нас в квартиру. Мама передала хозяйке дома подарок, и после объятий и поцелуев мы разделились: родителей пригласили к празднично накрытому столу, а меня и Гванцу отправили к юбиляру.

В большой комнате топталось около двенадцати ребят. Толстый, добродушный мальчик деловито обходил гостей и угощал их сладостями. Вокруг валялось несметное множество игрушек: паровозы, заводные машины, пружинные ружья, смешные куклы и велосипед.

Вся обстановка комнаты состояла из низкого красивого дивана и маленького шкафа, набитого детскими книжками. В шкаф был встроен проигрыватель, возле которого сидели на корточках три невзрачные девочки с серьезными лицами и копались в коробке для пластинок. Приход Гванцы и Ники «меломанки» встретили печальной арией Пьеро...

— Кто это? — спросил у толстого хозяина один из его друзей.

— Откуда я знаю! — отмахнулся тот. — По-моему, дети папиного нового начальника.

— Если его отец такой же debil, то я вам не завидую...

— Не думаю... Видишь, как все к нему подлизываются...

— И все-таки у сына глупое выражение лица, смотрит так, будто вчера родился.

— А по-твоему, сколько ему лет? Он ведь маленький, в школу еще не ходит.



— А чего он такой длинный?

— В папочку! Когда вырастет, десятирех таких, как ты, уложит!

— Как бы не так!.. Дать бы ему как следует.

— Опять ты за свое. Смотри, не обижай его. Знаешь ведь — наябедничает отцу, а потом мне достанется, — рассердился хозяин на друга и с улыбкой пошел навстречу гостям. Познакомился с ними сам и познакомил других. Угостил всех конфетами и попросил «меломанок» сменить грустную пластинку.

В комнату заглянула хозяйка дома.

— Гоги, сынок! Тебе уже двенадцать лет, надеюсь, ты не опозоришь меня, у нас такие дорогие гости...

— Нет, мама, не бойся!

— Не нужно ли вам чего?

— Нет, мама.

— Ну, я надеюсь на тебя, особенно следи за тем, чтобы не скучал этот маленький мальчик, — потрепала она Нику по щеке.

— Все будет в порядке, мама!

— Ну, смотри!

Хозяйка втащила из коридора ящик с лимонадом и вышла.

Гоги открыл лимонад, с помощью одноклассников раздал полные бутылки, а пустые поставил в фирменный ящик.

Гванца быстро освоилась и уже болтала вовсю, собрав вокруг себя девчонок. И вообще она была первой везде, где бы ни появлялась.

Нику не интересовала болтовня сестры. Он знал наизусть все, что она могла сказать. Знал он и то, где и когда Гванца повысит голос или в каком месте эффектным движением головы стряхнет волосы со лба. Непонятно, чем удавалось Гванце привлечь внимание окружающих? Ему надоело думать об этом. Все равно он не мог найти ответа... Это был один из тех вопросов, ответить на который невозможно. Просто нужно было все принимать так, как оно есть. Вот и все.

Нике всучили лимонад, пирожное с кремом и оставили в покое. Грустную мелодию сменил быстрый чардаш. Но Ника заскучал еще сильнее и острее почувствовал одиночество. Дома рядом была Гванца. За окном бегали дети Хасана. Иногда рассказывала что-то мама. Во всяком случае, никто не мешал думать. Сиди себе в углу и мечтай сколько угодно... В «обществе» же нужно было вести себя иначе: быть сдержанным, не говорить лишнего, никому не открывать сердца, но суметь при этом всем понравиться и со всеми подружиться.

Ника несколько раз пытался подражать Гванце. Старался показать характер — говорили, что он излишне капризен. Старался рассмешить кого-то — смеялись над ним, а самой, на его взгляд, заковыристой шутке никто даже не улыбался. А в тот день он и вовсе был не в настроении принуждать себя к чему-либо. Преподнесенное пирожное он положил на стол. Не притронулся и к лимонаду. С видом отшельника слонялся он по комнате, как вдруг взгляд его случайно остановился на велосипеде.

У детей Вартуш тоже был велосипед. Его недавно принес Хасан. Цельными днями колесили они под окнами Ниги. Но этот велосипед был совсем иным — гораздо красивее и больше. Ника улучил момент, когда на него никто не смотрел, подошел к велосипеду и осторожно, бережно провел влажной ладонью по блестящему никелю. Оглянулся. О нем, казалось, забыли. Все были заняты Гванцей, даже те три невзрачные «меломанки». Ника подтянул велосипед к себе, отодвинул от стены и прокатил на два шага вперед. Потом поставил его обратно, прислонил к стене и повернулся. За спиной у него стоял улыбающийся Гоги.

— Хочешь покатаемся? — заговорщически прошептал он Нике, у которого так и пылали уши. Ника улыбнулся в знак согласия. — Так пошли!

— Девочки остаются тут, мальчики — за мной, — словно капитан, стоящий на мостике, отдавал приказания Гоги. С громкими криками ребята скатились с лестницы, таща за собой велосипед.

Перепрыгивая через три-четыре ступеньки, Ника бежал чуть ли не впереди всех. Сначала его прокатил на велосипеде сам хозяин, потом и гости Гоги. Дом стоял на пригорке. Ребята съезжали по склону и притормаживали у ворот, резко повернув педали в обратную сторону. Когда все вдоволь накатались, Гоги снова посадил на велосипед Нику и медленно поехал.

— А теперь я сам!

— Как? — не понял Гоги. — У тебя же ноги до педалей не достанут, тебе еще рано кататься на таком велосипеде.

— Упадешь, — со знанием дела предупредили другие.

— Вы только подтолкните меня, а на спуске со мной ничего не случится!

— А если не сумеешь затормозить?

— А мы поймаем его внизу, — сказал кто-то.

— Ага, поймайте меня у ворот, ладно, — повторил Ника и бросился к велосипеду.

— Смотри ты, не шутит! Смелый парнишка, — шепнул Гоги мальчик, который поначалу обозвал Нику «дебиллом».

— А ты что думал! Кровь, брат, наследственность! — многозначительно поднял указательный палец Гоги и вместе с двумя ребятами побежал встречать Нику.

Нике помогли влезть на велосипед и подождали, пока Гоги с друзьями спустятся к воротам.

— Ты вообще сидел когда-нибудь на двухколесном? — спросил кто-то.

— Как бы он не разбился...

— Пустите-ка!..

— Хочешь, мы побежим за тобой, только чуть-чуть придержим сзади?..

— Нет!

Гоги с друзьями подошел к воротам. Махнул рукой.

— Пустите, меня уже ждут! — чувствовалось, что Нике не терпится, он крепко ухватился за руль.

Старшие ребята молча переглянулись. Потом ^{немного} прокатали велосипед вперед и слегка подтолкнули.

Ника выпрямился, поднял голову. И велосипед ^{будто бы} понял своего седока! Два-три раза подпрыгнул он на ^{выбоях} асфальта и, набирая скорость, устремился вниз.

Больше не существовало мучительного страха, нерешительности. Куда-то исчезло и унижительное чувство собственной неполноценности. Он стал счастливее всех, даже детей Хасана. Стал раскованнее, свободнее... Свободнее... Ника ощущал невероятную легкость во всем теле. Много лет спустя, когда он стал взрослым, у него все же сохранилось опьяняющее, удивительно сладкое чувство невесомости.

После этого случая ему часто снилось: легкий, как пушинка, сидит он на велосипеде и самозабвенно вертит педали.

Велосипед набирал скорость. Быстрее, еще быстрее... Зоопарк, лестница, ведущая к цирку, дорога в Коджори, леса и рощицы сменяли друг друга, и Ника внезапно почувствовал, что он летел по небу!.. Исчез велосипед, вокруг не было ничего привычного, знакомого, все необычайно изменилось. Ника парил в воздухе. Внизу под ним виднелись деревья и красные крыши домов. А он парил словно птица, распластав руки как крылья, то описывая круги, то, как коршун, камнем падая вниз для того, чтобы потом, у самой земли встрепенуться, встрепенуться в воздухе, и, сильно взмахнув крыльями, взмыть в безбрежное лазурное пространство.

Сначала ему говорили, что он растет и поэтому видит такие сны. Потом он перестал расти, возмужал, и все-таки нет-нет да и мчался велосипед, с невероятной быстротой вертелись педали. Потом не было ни педалей, ни велосипеда. Одно только небо, лазурное небо. И сильное, свободное тело. Внизу же виднелись горы, леса, рощицы, красивые голубые озера, покрытые колышущейся травой луга, срывающиеся со скал пенящиеся потоки и клубящийся в ущельях седой туман...

Стоявший внизу Гоги со своими друзьями готовы были остановить мчащегося, как ветер, Ника. Но так и не поймали. Хотя и очень старались.

Велосипед, словно напуганный жеребец, петлял на ходу, и его вместе с незадачливым седоком кидало из стороны в сторону, пока, наконец, Ника не вылетел из седла. Все вокруг охали. С балкона кто-то отдавал какие-то распоряжения, с лестницы сломя голову неслась хозяйка дома, за ней, обгоняя всех, бежала мама, которая время от времени вдруг замолкала и просила не кричать остальных (чтобы не услышал отец), и винила во всем случившемся только себя одну.

Сон был более стремительным и коротким. Хотя во сне Ника мучался и страдал гораздо больше. И тогда, когда был маленьким, и потом, когда вырос.

Полет продолжался всего лишь несколько десятых секунд. Мальчик парил в воздухе. Он не понял, что испытал сейчас, но уже догадывался, что это сон, который вот-вот кончится. Еще хоть несколько секунд свободного полета в безбрежном пространстве — и Ника готов был погибнуть, сознательно пой-

ти на смерть. Он готов был умереть, исчезнуть ради того, чтобы немного продлить эту стихию движения.

Внизу медленно текли, колебались леса, высокие дома. Ника примечал какую-нибудь скалу или высокое дерево и там-то устремлялся к ним. Верхушки деревьев не выдерживали его тяжести и ломались, Ника уже жалел себя — он ведь так любил жизнь. Он старался зацепиться за листья, за маленькие веточки, за все, что попадалось под руку. Ветви били его по лицу. Он хотел крикнуть, но не мог. Не было голоса. Исчезли куда-то и деревья, он странно кружил в воздухе, останавливался совсем близко от земли, когда вот-вот должен был разбиться об острые камни, распластаться на их мшистой поверхности. И тут у него замирало дыхание и отнимались ноги, казалось, будто едешь в скоростном лифте, который резко останавливается, а ты по инерции продолжишь двигаться. Так же по инерции, медленно гас в его душе боевой клич грозного мятежа.

Это походило на конец спектакля — когда опускается занавес.

Наступало пробуждение. Он одевался, изнуренный пережитыми волнениями, торопясь покинуть постель, в которой находился во власти стольких горестно-сладких сновидений.

Четырнадцать лет он научился плавать и нырять, а подводное плавание полюбили ему больше всего. Ощущение невесомости часто возвращалось, особенно тогда, когда он нырял. Но, к сожалению, к этому времени Нике снились уже другие сны. Редко вспоминал он тот стремительный, приводящий в трепет полет.

Потом он купил велосипед... Но случилось это спустя много времени, и велосипед быстро надоел ему.

Потом-то он понял, что не должен был покупать его, лучше бы велосипед оставался только мечтой, несбыточным желанием. Потом он исполнил другие свои желания и опять пожалел об этом. Потом решил, что надо находить самые трудные, сложные пути для достижения цели. Потом понял, что и в этом ошибся...

Так в чем же заключалась истина, где то единственное средство, с помощью которого он сумел бы достичь счастья?

Где искать их — ключи к счастью?

А когда он все познал и все испытал, когда ему все опостылело и когда им были пройдены почти все тернистые пути, он вдруг прозрел. Прозрел и остановился.

Но было уже поздно.

Белое сиянье, вобравшее в себя все многоцветье мира, ослепило его, и он забыл все, абсолютно все.

Он словно заново родился и вновь по золотнику, по крупице начал постигать мир...

Да, это случилось пятнадцать лет назад. Тогда Нику очень редко водили гулять в город. А в тот весенний день мама с утра нарядила его по-праздничному и после завтрака вместе с отцом отправила погулять. Нике почему-то казалось, что и город был убран по-праздничному, готовясь к встрече с ним.

Сначала они пошли в парк, постреляли в тире в спичечные коробки и в движущихся оленей; покатались на качелях, съели мороженое, а потом направились в «Детский мир» по-купать подарок.

— Ты уже большой мальчик, сегодня тебе исполняется семь лет! Надеюсь, тебе не надо напоминать о том, как ты должен себя вести, — слышу я шепот мамы. Папа, словно огромный корабль, рассекая волну идущих нам навстречу людей, подталкивает меня к прилавку и становится сзади для того, чтобы меня не прижали к стеклянной витрине и не помешали выбрать игрушку.

По ту сторону прилавка высятся пирамиды из разноцветных мячей. Трехколесные велосипеды, большие куклы, заводные машины и мотоциклы — все проплывает у меня перед глазами пестрой мозаикой. На прикрепленной к стене полке уложены стальные рельсы, на которых паровозик, стуча колесами, медленно катит за собой прицепленные вагончики, из окон выглядывают смешные куклы и медленно покачиваются из стороны в сторону в такт движению. Паровозик уже заканчивает третий круг, когда я чувствую на своем плече тяжелую руку.

— Ты уже выбрал? — спрашивает отец.

Меня прямо заворожила железная дорога, вспомнилась поездка в Боржоми, и в мечтах я уже перенесся в вагон маленького поезда, совсем забыв о том, зачем мы сюда пришли. Да и вообще я ничего не помнил: даже то, что рядом со мной такие же ребята, как я, деловито рассматривали игрушки, и что вокруг сновало много-много людей, и что за спиной у меня стоял мой отец.

Голос отца вернул меня к действительности, и я неторопливо и осторожно начал рассматривать прилавок. Несчетное множество игрушек, целое игрушечное море, а за прилавком стоит красивая черноволосая продавщица и еле сдерживает улыбку.

— Я вижу, у тебя глаза разбегаются, — говорит она мне. И тем временем успевает все: и бросить оплаченные чеки в пеструю картонную коробку, и не оставлять никого без ответа, и заворачивать купленный товар в яркую бумагу, и при этом не выпускать меня из поля зрения.

Я подозреваю, что улыбка, изящные движения и ластивые словечки предназначены не только мне, а скорее всего обращены к моему отцу, лица которого я не вижу. Папа стоит за спиной, но я все же догадываюсь, что и он смотрит на эту женщину как-то особенно, не так, как на других. Думаю об этом и чувствую, как начинает пылать лицо, как я краснею, кажется, будто меня раздевают и я остаюсь голым.

— Ну, как дела? Уже выбрал? — торопит меня отец. А я стою словно загипнотизированный, в паутине своих подозрений и, чтобы скрыть неловкость, рассматриваю стоящий передо мной велосипед.

— Этот велосипед переделывается в двухколесный, — говорит красивая продавщица, поигрывая маленькой красной

машинкой. Потом она вертит педали велосипеда и проверяет звонок.

Я в ту же секунду представляю себе удивленные и радостные лица мамы и Гванцы, и тот памятный день рождения, когда мы были в гостях у толстяка Гоги и я впервые сел на велосипед. Этот велосипед и вправду красив, похож на Гогин, но меньше, будто специально для меня сделан. А я ведь день и ночь мечтал о подобном подарке. Перед сном, бывает, даже ногами дрыгаю, словно нажимаю на педали, после чего мне каждый раз снится один и тот же сон.

А сегодня мой сон сбудется. Всего лишь кивок головы, и настоящий трехколесный велосипед, который я скоро переделаю в двухколесный, будет моим.

Над велосипедом висит пружинное ружье, а рядом возвышается пирамида красных мячей. Мне нравится все, но я должен выбрать что-то одно. Папа мне давно пообещал, что в день моего рождения он поведет меня в магазин и купит мне любую игрушку, которую я выберу.

Воскресный день выдался солнечным, и папа сдержал обещание. Всего лишь одно слово, и я, наверное, и вправду стану счастливым. С трудом отрываюсь я от велосипеда и начинаю разглядывать игрушки, разложенные под стеклом витрины. Там маленькие куколки, серебристый алюминиевый конструктор, детское лото и разноцветные книжки с картинками.

Продавщица о чем-то спрашивает отца, папа уклончиво отвечает. Оба смеются. На время обо мне забывают, и я, хотя бы ненадолго, остаюсь наедине с самим собой. Мне отнюдь не приятно, когда мне надоедают каждую минуту, но как только меня наконец-то предоставляют самому себе, я чувствую себя покинутым и брошенным и сразу начинаю злиться и обижаться. На этот раз мне даже стало приятно, что меня оставили в покое. Отец и та продавщица опять чему-то смеются, и я снова возвращаюсь к велосипеду.

Конечно же, велосипед! Другие игрушки не идут с ним ни в какое сравнение... Это я так, для вида артачусь. Ведь отец сам прекрасно знает, что я хочу велосипед! А этот неторопливый выбор — наша игра, наша старая игра, еще той поры, когда папа играл со мной в прятки и спрашивал: «Где ты?» — хотя прекрасно видел меня, прячущегося под стулом.

Внезапно я замечаю, что мой отец и эта женщина больше не смеются. Я исподтишка гляжу влево и вижу сильную загорелую руку отца, которая накрывает запястье продавщицы и сует ей в ладонь клочок бумажки. Перехватив мой взгляд, отец медленно отходит от женщины и поправляет галстук. Продавщица быстро поворачивается к нам спиной, наклоняется, видимо, пряча записку, на секунду промелькнули перед глазами ее высокие, неестественно широкие бедра, и она вновь так же ловко движется, улыбается мне и открывает маленькую дверцу прилавка.

— Войди, выбери сам, если хочешь, — приглашает она меня и касается плеча легкой ладонью.

— Не хочу, — хмуро отвечаю я, сбрасывая с плеча ее руку, и еще больше краснею.

— О, какой он у вас недотрога! — смеясь, говорит она и назло мне открыто улыбается отцу.

— Не такой уж он недотрога, как вам кажется, — отвечает он.

— Наверное, похож на отца.

— Не знаю, — вновь отвечает отец и ласково берет меня за подбородок, смотрит в глаза. Замечает мое пылающее лицо и тихо спрашивает: — Что с тобой?

— Ничего.

Отец вновь смотрит на меня, задумывается.

«Хоть бы со мной что-нибудь случилось, хоть бы я сломал ногу или потерял сознание, — думал я, — тогда отец возьмет меня на руки и быстро понесет домой, в наш большой дом, и там мы все вновь будем вместе... Эта женщина — наш враг, — приходит мне в голову страшная мысль, — она хочет похитить у нас папу! Я ведь вижу, как она старается привлечь его внимание, понравиться ему, угодить не только папе. Она и меня обнимает, говорит ласковые слова, будто бы я не знаю, что это ложь, притворство. К тому же хочет продать нам велосипед, — мелькает в голове новая мысль. — В таком случае я больше не хочу велосипед! Должен ведь папа почувствовать, что я люблю его, что я готов на все ради него. Вот возьму и выберу самую дешевую и ненужную игрушку, назло коварной продавщице. Во всяком случае, он догадается обо всем и оценит мою жертву».

«Что же выбрать? — думаю я, растерянно озираясь. — Мяч! Нет, мяч у меня уже есть, да и все равно никто не разрешит мне играть во дворе... Ружье! Нет, ружье не годится! Папа подумает, что оно мне нравится больше, чем велосипед, и не догадается, почему я отказываюсь от велосипеда... Лото... но я его не люблю. Конструктор. Очень жаль, что конструктор, а не что-нибудь другое, он ведь дешевле всего остальных...».

Я хорошо понимаю, что велосипед — это просто великолепно, и его приобретение достойно будет оценено дома (мама и Гванца ждут именно его, абсолютно уверенные в моем выборе).

— Ну, что же ты выбираешь? — в который раз спрашивает меня отец и нетерпеливо поглядывает на часы.

— Мне хочется конструктор, — едва слышно выговариваю я.

Папа с удивлением смотрит на меня.

— Подумай как следует, — внушает мне продавщица. — Я ведь наверняка знаю, что тебе хочется велосипед. А ты когда-нибудь катался на нем? — она испытующе смотрит на меня. — Посмотри, у него настоящие резиновые шины и даже ручной тормоз!..

— И звонок... — добавляю я.

— Да, звонок, — красивая женщина соглашается со мной и тренькает звонком.

Мой велосипед вновь оживает. Закрываю глаза и опять летаю над домами и деревьями. Вновь проходит по телу при-

ятная легкая дрожь. Медленно открываю глаза и повисаю на папиной руке.

— Мне он очень нравится, но все-таки я предпочитаю конструктор!.. — упорствую я.

Продавщица удивлена. Она приглашает меня за прилавок и разрешает сесть на велосипед.

— Оставьте его! — говорит отец. — Мальчик великолепно знает: я куплю ему все, что бы он ни выбрал, будь то велосипед или конструктор.

Слава богу, папа помогает мне. Удивление продавщицы, ее сомнение в правильности моего выбора еще больше усилили во мне желание купить именно конструктор. Я хочу, чтобы машины, которые я своей рукой смонтирую из этого конструктора, нравились мне больше всех остальных подарков.

— Всякий мальчишка мечтает о велосипеде, — промолвила продавщица.

— А я хочу конструктор, — как можно убежденнее повторяю я и тем самым лишаю красивую продавщицу надежды продать очередной велосипед.

«Ты понял, папа?! Я ведь тебе, только тебе сделал этот подарок», — торжествую я.

Папа улыбается и треплет своей тяжелой рукой мои взъерошенные волосы. Его глубоко посаженные темно-карие глаза тепло светятся. Он достает бумажник и низким, приятным голосом обращается к продавщице:

— Будьте любезны, заверните нам конструктор.

Я прижимаюсь к его ногам, но, видя, что мну безукоризненно отпужоженные брюки, отстраняюсь. Жду, пока он спрячет бумажник, беру с прилавка большую коробку, завернутую в гляцевую бумагу, и прижимаю к груди. Продавщица подмигивает мне и шутит с папой по поводу моего выбора. И папа смеется, прощается с ней, берет меня за воротник курточки, и мы идем к выходу.

А велосипед, красный велосипед, остается там! Я хочу велосипед! Хочу так сильно, как ничего до сих пор не хотел. А как легко могла сбыться моя мечта — мы ведь затем и пришли сюда. И мы здесь! Так близко от него... И при чем тут продавщица, разве не всем она улыбается, ну и что с того, что мне и папе она уделила немного больше времени? Разве можно было из-за такой чепухи лишаться велосипеда?.. Словно магнит притягивают меня его легкие, сверкающие контуры. В последний раз бросаю на него печальный взгляд и выхожу на улицу.

— В первый раз вижу такого странного мальчика, — доносится нам вслед голос продавщицы.

— Хочешь вернемся? — спрашивает меня отец. — Я чувствую, что ты все-таки предпочитаешь велосипед.

— Нет, — упрямо качаю я головой и еще крепче прижимаю к груди завернутую коробку. Мною овладевает неведомое прежде чувство счастья и гордости — я победил!

Впоследствии я часто думал об этом первом проявлении собственной воли. Да, я победил. Но в чем? Кого или чего я оказался сильнее? Сказал «нет» и наказал себя, словно монах-

отшельник. Я предпочел острое мазохистское наслаждение исполнению обычного детского желания. Почему? Чем был вызван этот удивительный для моего возраста бунт против сотворения всем понятного, нормального детского желания? Не знаю... Неужели во всем виновата та красивая продавщица? Или я принес свой велосипед в жертву фразе из пяти слов: «Впервые вижу такого странного мальчика!..». Не знаю... Но внутренне я всегда горжусь этим первым проявлением собственного «я».

Мы идем по проспекту Руставели. Мне кажется, будто все прохожие смотрят на меня и ясно видят происходящую во мне борьбу. Я краснею, но все равно стараюсь не пропустить ни одного, кто так или иначе взглянет на меня. Большинство встречных улыбаются и ободряюще кивают мне головой. Их улыбки и ободряющие кивки я расцениваю как бесспорное признание и одобрение моей победы. Папа встречает знакомых, очевидно, сослуживцев по новому тресту. Они с почтением здороваются с ним и отпускают какие-то шуточки в мой адрес. Честно говоря, я чуть не лопаюсь от обиды и злости, но равно улыбаюсь этим людям да еще подаю им руку. А конструктор становится тяжелее. Руки немеют. Особенно левая, но я все равно не отдаю папе игрушку. А до дома еще далеко. Чтобы как-то скоротать время и забыть о том, что у меня болят руки, я заговариваю с папой. Не помню, о чем я его спрашиваю. Сознательно говорю глупости, которые, как мне кажется, по мнению взрослых, должны говорить дети в моем возрасте. И подсознательно чувствую, что мой детский лепет вызывает симпатию отца и окружающих. Папа улыбается. Учит меня правильно произносить слова и легонько сжимает мою тонкую, словно у голосистого петушка, шею.

Папа редко бывает со мной, а еще реже ласкает меня. А я так стараюсь понравиться ему. Мы идем по проспекту Руставели, и отец обнимает меня! Чувствую на шее папину руку и вырастаю в собственных глазах. И вправду, что мне какой-то там Хасан и его дети!.. Верно говорит мама: «Не забывайте, кто ваши родители», с моим папой не сравнятся и сто Хасанов, ну и что из того, что он никогда не катает меня на спине. Он не какой-то там носильщик, а управляющий трестом!..

Мы проходим по проспекту еще один квартал и сворачиваем на улицу Чавчавадзе.

— Дай мне свою коробку! Не съем я ее в конце концов, — говорит мне отец и отбирает у меня конструктор.

— Как хочешь, — обиженно отвечаю я и потираю онемевшие руки. Папа смеется, берет конструктор в левую руку, а правой держит меня, помогая идти по подъему.

Наверное, мы с отцом выглядим довольно забавно. Короткие, темно-коричневые узкие штанишки доходят мне до колен и обнажают тонкие, словно спички, ноги, белая рубашка с жабо и перекрещенные на ней бретели брюк делают меня похожим на прустного Пьеро. Рядом с отцом я и вправду похож на куклу из сундука Карабаса Барабаса. Опустив голову, с обиженным видом бреду я рядом с папой и украдкой поглядываю на него.

Вижу черные блестящие полуботинки, которые мама называет «штиблетами», безукоризненно отглаженные полосатые брюки, узкий кожаный ремень, темный с простым рисунком галстук, в котором блестит булавка с дорогим камнем, сильную загорелую шею с неподвижной, как у статуи, красивой головой. Модный пиджак подчеркивает спортивную фигуру отца, к тому же он почти на голову выше всех идущих навстречу мужчин, и я с нескрываемой гордостью сравниваю его с ними. Приятно идти с отцом. Мне не хватает слов выразить те чувства, которые я испытываю, идя вместе с ним по улицам. Независимо от себя самого я стараюсь во всем подражать ему. Во время еды сидеть как он. Так же с достоинством вести разговор и ходить по улице, заложив руки за спину. Приятно сознавать, что сын этого эlegantного, всегда выбритого человека, который трезво судит о жизни и слову которого принадлежит решающее значение там, где ему приходится бывать.

Наконец-то кончается подъем, и мы выходим на улицу Котэ Мески; соседи, опережая друг друга, спешат поздороваться с папой, и я чуть ли не задыхаюсь от гордости, стараюсь не отставать от отца и таким же легким кивком и спокойной улыбкой приветствую всех.

— Смотри-ка, весь в отца пошел! — слышу я чей-то шепот и дотягиваюсь до звонка у нашего подъезда. Дверь открывает мама, и мы с достоинством входим в дом.

Как я и ожидал, мама и Гванца не в восторге от моего выбора. Мама сказала, что отец пожадничал и пожалел деньги на велосипед. И Гванца повторила то же самое. Я выгораживаю отца и, наверное, в десятый раз рассказываю о том, как я выбирал конструктор.

— Почему? Чем конструктор лучше велосипеда? — прерывает меня Гванца.

Еще немного — и я или задохнусь от подкативших к горлу слез, или зареву как плаксивая девчонка.

Я оставляю маму с Гванцей и бегу к папе в кабинет.

Папа успокаивает меня, не спрашивая ни о чем, догадываясь о причине моего волнения, рассказывает мне длинную интересную сказку с разными приключениями, и я забываю о споре, возникшем между мной и Гванцей.

— Эй, мужчины, ну-ка быстренько обедать! — зовет нас мама из столовой.

Папа обещает досказать сказку после обеда и посылает меня в ванную мыть руки.

Стол накрыт только на двоих. На безмолвный вопрос отца мама отвечает, что они с Гванцей успели пообедать до нашего прихода. Мы садимся за стол, Гванца возится в своей комнате, капризничает, и мама уходит к ней. За столом за мной ухаживает папа. Мама вкусно готовит, а сегодня обед — пальчики оближешь. Сначала отец наливает мне чихиртму. Суп такой горячий, что можно обжечься. Я налегаю на редиску и лук. А чихиртма подождет, должен ведь суп немножко остыть. Страхиваю капельки воды с кресс-салата и опускаю в солонку... На второе — мои любимые голубцы в виноградных листь-

ях, сорванных в нашем саду. Хотя на дворе еще только весна, на праздничном столе всевозможные фрукты. Здесь же и красивые пирожные, испеченные мамой, и другие всевозможные сладости. И заморские фрукты — бананы. Стол накрыт как для взрослых — серебряные приборы, английский фарфор фирмы Альфред Мекин «BLOSSOM» и хрустальные бокалы. В другое время меня к такому столу и близко не подпустили бы, но не это главное... Сегодня за столом за мной ухаживает папа. Такого, наверное, и Гванца не достаивалась.

Сегодня день моего рождения! Это наш, мужской праздник, и поэтому мы здесь и сидим вдвоем с папой.

Вечером придут гости, а папа уже за обедом поздравляет меня. Наливает мне в пузатый бокал «киндзмараули», разбавленный лимонадом, и произносит тост. Я чокаюсь с ним и пью до дна. Такой счастливый день — для меня большая радость, и я из кожи вон лезу, стараясь угодить папе. Безмерно польщенный таким к себе отношением, я много болтаю, папа обращается со мной по-товарищески, и я хочу оправдать его доверие (взять хотя бы сегодняшнюю историю в «Детском мире»). Что может быть лучше, если отец — твой друг, когда такому сильному и красивому человеку ты доверяешь свои тайны... Папа не прерывает меня. В другой день он бы уже тысячу раз остановил меня. Хотя он не особенно заинтересованно следит за моим рассказом, больше следит за тем, чтобы я ел, нежели слушает. Вдруг я замечаю, что он прислушивается — у него загораются глаза, и он заставляет меня еще раз повторить рассказанное. Я замолкаю и в страхе пытаюсь убежать. Папа незаметным движением руки возвращает меня к столу, к моей тарелке и зовет маму. Я уже догадался о том, что переборщил и поступил ужасно: предал маму и выдал нечаянно старый-престарый мой и мамин секрет. Я разошелся и рассказал папе о том, как мы с мамой открыли ящик его письменного стола и обнаружили там пачку писем и фотографий... Мама, видно, слышала наш разговор. Побледневшая, входит она в комнату и останавливается у стола.

«Все это неправда, неправда, — думаю я, — все это сон! Ужасный, мерзкий сон... Сейчас помчится велосипед в пропасть и разобьется о скалу. Я потеряю сознание и полечу в страшную бездну... А потом проснусь».

— Неправда, неправда, — шепчу я и трясусь всем телом.

Папа требует, чтобы я рассказал все сначала в присутствии мамы. Я словно онемел, и ему не удается выжать из меня ни слова. Тогда он рассказывает вместо меня и повторяет мои интонации... Я больше не могу смотреть в мамины величиной во все лицо глаза, мне не хватает воздуха, я икаю до дурноты и наконец медленно сползаю под стол.

— Палач! — выкрикивает глухо как-то вдруг внезапно состарившаяся мама. — Это я, я обнаружила фото твоих любовниц! Что же тебе надо от ребенка, хочешь из него сделать доносчика?

Папа своим опромненным кулаком стучит по столу, и дубовый стол стонет как живой.

— Хватит! — папины ноги удаляются от края стола и идут к двери. Оконные стекла вместе с разбитой посудой звонко отзываются на стук двери.

В коридоре сыплется с потолка штукатурка, по стене стихает неприятный звук дребезжащего стекла, и наступает непривычная, страшная, невыносимая тишина.

Мама плачет, я вторю ей из-под стола, Гванца с ревом выбегает из своей комнаты и присоединяется к нашим рыданиям.

— Я же не хотел!.. Я же не хотел! — беспрестанно повторяю я и прижимаюсь головой к маминому животу. На меня нападает такая сильная икота, что я перестаю плакать. Меня прямо выворачивает наизнанку, и я сотрясаюсь всем телом. — Я боюсь! — Я дрожу и прячу лицо в подол маминого платья.

Потом, когда я вырос, мама время от времени напоминала мне о том дне. Ей почему-то кажется, что после этого дня я отверг отца.

Мама права. Неправда и то, что в тот день у меня было очень серьезное и мужественное выражение лица. Я просто боялся. Боялся самого себя. Боялся возвращения отца. Боялся прихода гостей. Боялся, что кто-нибудь узнает о той подлости, которую я совершил.

Но важный перелом произошел не тогда, гораздо позднее, по прошествии восьми лет.

— Подожди еще года два, увидишь, как опротивеет тебе учеба, — пообещала мне Гванца, подкладывая под мой отличный табель свой аттестат об окончании восьмого класса. — Тройка — залог здоровья!

Мама не возмущалась тройками, приносимыми Гванцей, не удивлялась и моим пятеркам, она ждала этого и была уверена в конечном итоге школьных успехов. Наши «достижения» она спрятала в «шкаф сокровищ» и на третий день повезла нас отдыхать в Куджори. Папа всего лишь отвез нас туда, устроил и в тот же день вернулся обратно. Он еще не брал отпуска, а приезжал к нам только на субботу и воскресенье, нагруженный, как Дед Мороз.

Тбилиси изнывал от зноя, а здесь почти ежедневно шли дожди. К концу августа немного потеплело, лужи стали подсыхать. Те дни, когда не было дождя, мы проводили в маленькой роще возле дома. С утра для нас привязывали гамаки, мы клали в них по два пледа и проводили там «мертвый час».

Каждый год сюда приезжали одни и те же отдыхающие, поэтому все прекрасно знали друг друга. В рощице резвились истосковавшиеся по свежему воздуху дети, а их мамы не устанавливали взыбать для них гоголь-моголь. Изредка приходили к нам из деревни ребята поиграть в мяч, чехарду или лапти. Они были младше нас, хотя гораздо сообразительнее и проворнее, отличались практичностью и деловитостью. При этом они не гнушались и грубым вымогательством, но мне их все равно было жалко, ведь у них бывало такое серьезное, грустное выражение лица, когда они, занятые работой, наблюдали за нашими играми и ни перед кем не кичились.

Мы с Гванцей еще и потому любили ездить на дачу, что в Тбилиси мы не видели ничего, кроме дома и школы, здесь же пользовались относительной свободой. Одно оставалось неизблемым: мы обязательно должны были спать днем по крайней мере, полчаса часок-другой. Деревенские привыкли к нашему «мертвому часу». Во всех домах, где жили дачники, было строго заведено: в это время должна быть тишина. Правда, мы были одного возраста, но все-таки нас разделяла невидимая граница, и мы не дружили. Они всегда собирались отдельно, забирались в сады за деревней, дразнили нас «маменькиными сыночками». Они завидовали нашей городской жизни, мы — их свободе. Естественно, и наши родители не сидели сложа руки, день и ночь старались оградить от дурного влияния «деревенских мальчишек» своих нежно лелеемых детей. Моя же мама пуще всех остальных. Она рассказывала такие ужасные истории, что сам Эдгар По позавидовал бы. Ни я, ни Гванца не верили этому, бывало, мы посмеивались потихоньку, когда мама пыталась обновить какую-нибудь старую притчу.

— А дальше, дальше? — с приторным волнением спрашивала Гванца и заставляла маму повторять сначала только что рассказанную историю. — А это было не так, — спорила Гванца. Мама, ни о чем не догадываясь, горячо отстаивала свое. Под конец я уже не выдерживал такого издевательства над мамой и одергивал Гванцу, заслуживая при этом гнев обеих. Гванца в ярости кидалась на меня, обзывала глупым и бестолковым. А мама, рассердившись на Гванцу, вымещала злость на мне.

Так однообразно и лениво проходило лето. Правда, мы не очень то прибавляли в весе, но внешние изменения тем не менее были налицо. Я рос с какой-то фантастической быстротой. Вся одежда становилась короткой и узкой. Менялась и Гванца, а больше всего ее характер. Она все делала наперекор маме, ни одного ее слова не оставляла без ответа. Мне же, наоборот, очень трудно было что-либо кому-то возразить. Я ускальзывал из опасной зоны ссоры и, качаясь в гамаке, читал «Графа Монте-Кристо». В этих ссорах я больше поддерживал маму. Она же, сколько я себя помнил, все делала для того, чтобы я нигде не услышал дурного слова, чтобы я не набрался плохих привычек у соседей и товарищей. Каждый раз она провожала меня в школу, и из всех родителей на тренировках по баскетболу присутствовала только моя мама. А время шло, и каждый день приносил ей новые сюрпризы. Я больше других пропускал уроки. Больше других пререкался с учителями.

«Ничем не могу объяснить это запоздалое детство», — часто говорила мама, забывая о том, что в то время, как дети Хасана гонялись во дворе друг за другом с деревянными пистолетами, я сидел взаперти и через окно жадно следил за каждым их движением. Я вырос в четырех стенах. Меня одолевали мои прежние детские мечты, и я старался хотя бы сейчас почувствовать запретную прелесть игры. Школьные товарищи объясняли эту страсть моей горячностью и упрямством. И среди них я был одинок, почти одинок. Я не любил ходить в школу, наверное, не меньше Гванцы. Я знал больше других,

а надо мной все равно смеялись, я был гораздо сильнее / ну, и все равно всегда попадало мне. Мне казалось, что во всем этом была вина мамы, ее метода воспитания. Но в отличие от Гванцы, я ни разу не заикнулся об этом ни ей, ни кому другому.

Мама ошибалась, ну и что из этого? Она ведь желала нам только хорошего!.. То, что должно было случиться, случилось, и ничто уже не изменится. Я сам должен справляться со своими чувствами.

Гванца думала иначе. Она выговаривала все. И значительно при этом преувеличивала. Может, этому было определенное объяснение. Гванца скрывала настоящую причину, скрывала постоянным упрямством и беспричинными капризами и прикрывала каждодневными мелочами... Не раз в течение дня возникал громкий спор или перепалка, а ведь Гванце достаточно было одного слова, чтобы пуститься в рев. Я, как только мог, успокаивал обеих.

Наступил август, еще немного, и мы вернемся домой. Мы даже успели устать от отдыха. Деревенские ребята собирали в корзины, сплетенные из тонких ореховых веток, дикую грушу и ссыпали ее в кувшины для водки. Дикая груша, абрикосы, яблоки-падалицы — все кипело и бурлило в этих огромных кувшинах. Кое-где начали перегонять водку, а по вечерам, устав от перетаскивания груш, ребята собирались на окраине деревни, во дворе старой церкви, жгли костер, играли на доли и на гармошке. К ребятам присоединялись наши хозяева, за ними тянулись уставшие от безделья дачники, и к вечеру вся деревня собиралась на церковном дворе.

Наш хозяин, дядя Тэдо, одним из первых направлялся к церкви, и потому мама со спокойным сердцем отпускала туда меня и Гванцу. Самое главное было ни на минуту не отходить от него. Мама все-таки недоверчиво относилась ко всем выходкам «грушесобирателей» и старалась оградить нас от их влияния. Дома мне ужасно надоели постоянные ссоры, и я однажды попросил маму отпустить меня в лес собирать груши. Время для просьбы я выбрал неподходящее — только что кончилась ее очередная перепалка с Гванцей и она отсчитывала себе валериановые капли. Мама учинила такой скандал, что выместила на мне все, что не досталось Гванце, и я, наказанный так, чтобы впредь nepовaдно было, провел весь день в постели. Мама считает, что все началось именно с этого злополучного дня, что я изменился в худшую сторону, потому что связался с деревенскими мальчишками и попал под их влияние. Но это ошибка, простое совпадение. Мама верит тому, что убежать из дому надоумили меня деревенские ребята и что-то в последнюю минуту заставило меня отказаться от этого шага.

Я никогда не говорил ей, что это неправда. И никогда не скажу. И как мне сказать, когда сам я хочу убедиться в том, что мама права. На следующий день я почти не помнил того наказания. Лежа целый день в постели, я дочитал «Графа Монте-Кристо».

Вечером снова послышалась лезгинка с церковного двора, и дядя Тэдо взял с собой меня и Гванцу с ультимативным ус-

ловием, что все время будет держать нас за руки и ни на секунду не отпустит.

Мама была занята ужином. Она ждала из Тбилиси отца и, прежде чем отпустить полюбоваться на костер, зажженный мальчишками, заставила меня поймать нашего петушка и целый час ощипывала его.

Из дому мы вышли втроем. Дядя Тэдо рассказывал Гванце о собственном способе получения сыра, я плелся сзади. Старый, еще военного времени американский «виллис» нагнал нас, за тяжело подпрыгивающей по выжженной засухой дороге машиной поднимались клубы пыли, которая покрывала серым налетом придорожные кусты ежевики. Эта ежевика всегда была более сочной и спелой, чем та, что росла за пределами деревни, на склонах горы. Но пыль так глубоко проникала в нее, что даже после многократного промывания песчинки хрустели на зубах.

Кислая вода с бульканьем выбивалась из высеченного в скале желоба и оставляла в выложенном галькой русле красновато-коричневый след.

Тут же лежала памятная алюминиевая кружка с отломанной ручкой. По вкусу вода напоминала «Боржом», только купленный в магазине и из холодильника, а не ту будто застоявшуюся в железной цистерне теплую водичку, которая без всякого газа течет в Боржом-парке.

Мы пили воду. Газ обжигал рот, вода была такой холодной, что у меня перехватило дыхание.

— Медленнее пей, сынок, медленнее. Не дай бог ангину схватишь, достанется тогда нам от мамы, — наставлял меня дядя Тэдо.

Ветер донес со стороны церкви звуки зурны и доли. На дороге становилось все больше народу, направляющегося туда же, куда и мы.

— Сегодня «верхние» ребята придут. Не поборемся с ними?

— Во-первых... — начал было я.

— Ну и философ же из тебя вырос, — прервал меня дядя Тэдо. — Когда я был таким, как ты, меня, помню, никакой силой не удержать было!..

Молча проглотил я обиду. Конечно, же, мне хотелось побороться. Часто я сдерживал себя, чтобы не выйти в круг и не схватить соперника за маленькую бордовскую чоху. Но мне не хотелось быть посмешищем. Обычно боролись местные. Редко выходил кто-нибудь из приезжих. На людей случайных, в особенности городских, всегда смотрели подозрительно. Вышел как-то раз один «дачник», всех уложил, а оказалось, он был борцом-разрядником. На следующей неделе вызвали на бой его брата и вывихнули ему плечо. Все лето только и было разговоров, что о том «городском лопухе», а его брата-победителя никто и не вспомнил. Я боялся. Не того, что мне вывихнут плечо, а того, что надо мной будут смеяться. Я и так уже был «маменькиным сынком», вдобавок стал бы «городским лопухом». Я ведь был чужим и не мог, пожав руку победителю, поцеловать его перед тем, как покинуть поле. Вот о чем ду-

мал я, наблюдая за борьбой, и это удерживало меня. К воде подходили люди, и словоохотливый дядя Тэдо завед с ними разговор. Я не принял участия в их беседе и направился к церкви. Гванца последовала за мной. Мы, исцарапавшись, торопливо прошли напрямик через кусты ежевики, подошли к разрушенной церковной ограде и сверху оглядели площадку для борьбы. На ней уже хозяйничали признанные чемпионы. Разошедшиеся музыканты, раззадоривая бойцов, играли сачидао¹. Мы с Гванцей взобралась на остатки ограды и заняли уже облюбованные нами места. Отсюда все было хорошо видно, и никто не кричал мне: «Эй, городской, уберн голову», не толкал плечом, — дай, мол, и мне посмотреть, подвинуся, — и никто не приставал ко мне для того, чтобы сказать потом: «Если бы не его сестра, я бы его мигом отделал». Да и Гванца, бывало, перегибала палку, всюду совала свой нос, она и думала вместо меня, и решала за меня. Сейчас же мы спокойно сидели и смотрели. Знаменитые борцовские пары действовали чересчур осторожно, долго примеривались друг к другу.

Я весь дрожал. Я готов был броситься вниз, подставить кому-нибудь из борющихся нопу или повалить на обе лопатки!

— Да не ерзай ты, стыдно, ведь люди смотрят, — едва заметным движением урезонивала меня Гванца.

После ее слов мне уже ничего не хотелось. Я опять становился одинок, и мне было уже грустно, и все вокруг казалось таким надоевшим. «С чего это мы вдруг пришли смотреть на выдохшие кизяки и коношачихся в опилках двух потных деревенских парней», — думал я, повернувшись к Гванце спиной, и, закрыв уши ладонями, смотрел на поле, не слыша ничего, кроме приглушенного гула. Я научил этому и Гванцу. Ей понравилось. «И правда, нечего смотреть на все это», — согласилась Гванца и жеманно зевнула. Я с благодарностью посмотрел на Гванцу и вновь уставился на поле. Гванца была единственным человеком, способным без слов понять меня. О многом она даже догадывалась, успевала сказать то, что я еще даже и не обдумал по-настоящему, но хотел сказать, а у меня не хватало слов и я искал их. А она уже спрашивала: «Ты ведь тоже так думаешь, ты ведь это хотел сказать?» — и смеялась. Она была в это время так хороша, и у нее были такие большие и красивые глаза. Она красила губы соком молодых грецких орехов и была похожа на иностранную киноактрису. Когда мне было хорошо, мне не нравился этот смех, и я даже боялся его. Здесь таилась измена, эта улыбка и смех относились не ко мне. Гванца строила глазки кому-то другому. Я вспоминал ту продавщицу и хмурился, и мне очень хотелось ударить ее по губам. Но Гванца ведь была Гванцей, она все чувствовала, все понимала еще раньше, чем я успевал сообразить, улыбалась совсем по-другому — тепло и ласково. «Ох, паршивец, смотри, какой ревнивый, дурачок! Несчастливая будет твоя красавица-жена», — говорила она, сразу успокоив меня, и я делался покладистым и смиренным. Особенно действовали на меня слова о жене-красавице. Гванца знала, что тер-

¹ Музыка, сопровождающая состязания в борьбе.

зало меня и о чем нужно было говорить. «Ты, видать, не хочешь, чтобы у тебя была красивая жена, вот встретится такая же неопрятная и некрасивая, как эта тарелка», — еще когда я был совсем маленьким и оставлял еду на тарелке, кулаки меня Гванца. И вечно блестели у меня тарелки, так я их только и лизывал. Бывало, в гостях даже стыдно становилось, когда хозяйева, замечая мое старание, спешили положить мне в тарелку еще еды. «Не надо, — говорила тогда Гванца, — Ника мечтает о красивой жене, поэтому так усердно вылизывает свою тарелку».

На борьбу смотреть было уже неинтересно, Подряд несколько туров кончалось вничью. «Оба вы хорошие ребята», — повторял стоящий в кругу «судья». А народ свистел, самые горячие даже рвались в драку. «Да вы спускайтесь сюда», — предлагал им «судья». Тогда смельчаки разбежались, прятались. А когда и последняя пара обманула надежды зрителей, откуда ни возьмись появилась в кругу гармоника и завела «картули»¹. Поклонники кулачного боя делали вид, будто они продолжают бороться, потом они перестали, и народ с борцовской площадки перешел на танцевальную. Вечерело, мы с Гванцей слезли с ограды. Как только мы очутились на танцплощадке, Гванцу пригласил какой-то деревенский парень. Здесь же стояли и деревенские девчонки и перешептывались. Вот тебе и танцы... Я предчувствовал это и не хотел приходить. Мое предчувствие сбылось. И вдруг кровь хлынула к лицу, и я помимо воли сжал кулаки.

— Да будет тебе, ничего страшного тут нет, — маминым тоном сказала Гванца и сжала мою руку. — Не заводись понапрасну, — одним прикосновением руки уладила меня Гванца. А дядя Тэдо подтолкнул ее.

— Пойди, девочка, потанцуй, покажи, на что ты способна. Чем ты хуже этих балаболок! — кивнул он на прыскавших в кулак девчонок.

— Это ведь не танго, и не рок-н-ролл, дядя Тэдо, куда ей по-нашему, — ввернула под смех подружек одна смутлянка и тотчас спряталась в толпе.

Когда я перевел взгляд с бойкой смуглянки, Гванцы уже не было. Она не заставила себя долго упрашивать, смело вышла в круг и плавно развела руки. Доли и гармонь грянули еще сильнее, зазывнее. А Гванца и та деревенщина вместе танцевали в кругу. Вот для кого она смеялась, кому строила глазки. На миг промелькнула она передо мной. Но у того парня появился соперник, который тоже вступил в круг. Дядя Тэдо вместе со всеми с удовольствием хлопал своими мозолистыми руками. Деревенские девчонки хихикали тоненько и фальшиво.

С Гванцей танцевали сразу трое, и я вдруг все понял. Оказывается, все уже давно знали, а я, как всегда, узнал все последним, Гванца выросла. Ну и что из того, что она была старше меня, все равно я считал ее своей сверстницей и при

¹ Грузинский танец.

случае поколачивал. И здесь она обошла меня. Я стоял в стороне, никем не замечаемый и всеми забытый. А там все принадлежало Гванце: и доли, и гармоника и восторг дяди Тэдо, и девчоночьи усмешки, и жадные взгляды ребят.

Я вновь остался совсем один, даже Гванца мне изменила. Все чаще слышались на площадке возгласы, громче играла гармоника, доносилось порой имя Гванцы, но я уже ни на что не обращал внимания. Я повернулся и пошел к дому. Во дворе церкви бегали мальчишки, обменивались шутливыми тумаками. Рядом с танцплощадкой, где собирались разжечь костер, росла горка хвороста.

Кто-то толкнул меня, пробормотал извинения, но я так и не ответил, подошел к ограде, перелез через нее и пошел напрямик. Опустилась безлунная ночь. Слышно было, как на церковном дворе потрескивает костер, играют на доли и гармонике. Подул прохладный ветерок. Как живые, касались меня ежевичные кусты. В другой раз я бы, наверное, испугался и убежал, теперь же я не испытывал страха. Напротив, наступившая темнота успокаивала меня и даже была приятна. Я спустился к роднику, наполнил кislый воды и только тогда оглянулся. Над церковным двором стояло алое зарево. Пламя костра подымалось выше ограды, доносилась обрывки смеха, хлопки, звуки музыки. Я вышел на дорогу и пошел к деревне. «И Гванца изменила мне!» — неотступно звенела во мне мысль, терзая меня. Потом я вспомнил о том, сколько общих воспоминаний было у нас, общих тайн. Я в первый раз растал с ней и, как казалось мне, навсегда. Глаза горели, я вытер мокрое лицо и шумно высморкался. Не хватало еще того, чтобы я заплаканным показался маме на глаза.

В домах уже мерцали огни. Глаза перестали гореть, и я немного успокоился. «Сегодня приезжает папа, интересно, что он привезет?» — внезапно подумал я. Потом мне самому стало стыдно своей мысли, ведь сегодня я потерял единственного настоящего друга, а думал о том, какой арбуз привезет отец. Что могло быть противнее этого?!

По темной дороге двигались какие-то странные тени. Я постепенно прибавлял шаг и вскоре побегал к дому. Тысяча голосов и странных теней, леденя кровь, с тихим воем преследовали меня. У нашей калитки, словно белая мутака¹, растянулась соседская собака.

«Дойти до самого дома и позволить этому псу растерзать себя!» — подумал я, осторожно обошел лежащую собаку и в двадцати шагах от нее привычным движением перемахнул через низенький забор. Во дворе дома двигались те же тени.

— Ну, это уж мне точно кажется! — чуть ли не вслух пробормотал я и спрыгнул во двор. Две тени пронеслись мимо и побежали в сторону грушевого дерева.

— Сюда, сюда, — позвал меня кто-то сверху, и я почему-то пошел на крик. Большое дерево было сплошь усыпано деревенскими мальчишками. — Эта ветка поломана, — предупредил меня все тот же голос и указал на безопасную ветку.

¹ Подушка в виде валика.

Все устали в слабо освещенное керосиновой лампой окно. Кто-то решил переступить на другую ветку. Хрустнула тоненькая веточка.

— Тс-с! Шляпа! — получил подзатыльник нарушитель тишины, и вновь замолкло наше дерево. В комнате какое-то движение. У меня горят заплаканные глаза. В окне возникает мужчина. Он открывает окно, глубоко дышит и очень знакомым голосом говорит:

— Посмотри, какой воздух! — Боже мой, это ведь папа, он приехал и уже дома. Я открываю рот, у меня вот-вот готов вырваться радостный крик. Я с трудом сдерживаю себя и смотрю более внимательно. На папе шелковая тенниска с короткими рукавами и узел галстука спущен. Он идет к столу, потом садится на кровать, она громко скрипит. Он поворачивается, и ясно становится видно выражение его лица.

— Нет! — слышится мамин голос. Вновь скрипит кровать. — Ведь дети придут, их сейчас приведет Тэдо! Нет! Нет! — тихонько плачет мама.

— Нет! — это уже рассерженный низкий голос отца и приглушенный, тяжелый звук удара. Вновь по затемненным стеклам комнаты прыгают огромные тени, и глухой звук второй пощечины сопровождается плачем мамы. Я закрываю глаза, хочу, чтобы все кончилось, хочу ничего не слышать и не видеть. И уйти я не могу, я ведь совсем близко, в десяти шагах от них, и мне кажется будто они так же слышат биение моего сердца, как слышат вздохи и скрип кровати сидящие на дереве деревенские мальчишки.

Я не помню, как спускаюсь с дерева, перебираюсь через забор и иду, потом еще чей-то забор, там собака, еще забор, я ни на что не смотрю, у меня промокли ноги, исцарапано все тело, и все равно ничто не в силах остановить меня.

Перевод Динары КОНДАХСАЗОВОЙ

Окончание следует

Гурам АСАТИАНИ

МИР ВХОДЯЩИМ!

Совсем недавно в наших литературных кругах часто можно было услышать: где молодые поэты, где та смена, которая должна занять наши места? И т. д.

Вдруг стало очевидно, что сегодня существует целая когорта «новобранцев», сумевших как-то незаметно осадить главные форпосты грузинской поэзии. Это обстоятельство я уже отметил однажды и хочу сейчас пояснить, чтобы сказанное мною не сочли безответственным заявлением.

Эффект незаметности в данном случае объяснялся и той простой причиной, что предшественники (и в первую очередь критики) довольно долго их не замечали.

Была и другая, более важная причина. Поэты эти вошли в литературу бесшумно. Их приход не сопровождался сенсационными декларациями, манифестами (за исключением, пожалуй, статьи Гурама Петриашвили). В отличие от поэтов некоторых других поколений, нынешняя молодежь не проявляла тяги к высоким трибунам, не искала многолюдной аудитории, не прибегала к каким-либо внешне впечатляющим средствам самоутверждения.

Для большинства из них главная задача заключалась не в прокламировании открытых им истин, а в усердных поисках неоткрытого, не в пламенной проповеди, а в наблюдениях, споре и анализе.

От поколения, непосредственно им предшествовавшего, они унаследовали именно эти черты и стали активно развивать то, что еще вчера существовало в виде зародыша.

Большая и значительнейшая часть молодой поэзии 70-х годов идет (по сей день) путем поиска, раздумий. Это, в основном, поэзия аналитическая, поэзия незавершенного внутреннего диалога. У поэт в этого поколения есть общие черты, общие стремления, это естественно. Отрадно то, что несмотря на вполне объяснимое сходство, между ними существуют и резкие контрасты. Некоторые из последних так очевидны, что

легко открываются и постороннему взгляду. В этом мы скоро убедимся. А пока — одна оговорка: все, что будет сказано ниже, навеяно первым впечатлением и на большее не претендует.

Поскольку я не очень твердо разумею, с чего следовало бы начинать, следуя требованиям учтивости — «пропущу вперед» женщин.

Это будет оправдано еще и тем обстоятельством, что первая из них, на мой взгляд, стоит в сегодняшней молодой поэзии особняком.

Тамар Джавахишвили — не новичок в поэзии. Вышедшая после большого перерыва ее вторая книга — результат зрелых чувств, раздумий, вдохновения, нашедших такие же зрелые устоявшиеся формы.

Ее стихи согреты светом благородства, ума и такта. Ее нравственный идеал — женщина «классического» склада, терпеливая, верная, исполненная той непреходящей убежденности, которая обязывает мужчину к рыцарству и стоицизму.

Поэтика Т. Джавахишвили, в основном, заключена в круг традиционализма. Она не ломает стиха. Не нарушает привычной гармонии. Она старается в пределах этого круга наружить новые глубины, новые объемы.

Со словом она обращается бережно, и оно с благодарностью отвечает на ласку. Меня лично привлекают ее осторожные неологизмы, особенно — глаголы, развернутые по-новому, вольно, с тончайшими смысловыми оттенками.

Т. Джавахишвили доводит до минимума весомость слова, вообще его предметность. Ее главная задача — окрылить слово, заставить звучать мелодично, подчеркнуть в нем духовное, а не плотское начало.

Если следовать известной классификации Ю. Тынянова, то Т. Джавахишвили без сомнения надо отнести к «архаистам». Между тем архаизация в ее стихах весьма умеренна. Чувство меры почти никогда не изменяет автору.

Мне кажется, она всего сильнее там, где доверяет легкой мелодии свою любовь к родной земле, ко всему «вечно-грузинскому».

И краски покорны ей тогда, когда она рисует родные дали. В стихе царит удивительное согласие, точное «совпадение» природы с образом.

В одном стихотворении у Т. Джавахишвили есть «цвет тедзмийского сланца». Сила этого «цвета» в его единственности. Сланец, как и многие другие камни, подвержен довольно продолжительной эксплуатации в грузинской поэзии. Но здесь он особый — тедзмийский, с особым, одному ему присущим, свечением.

В городе глаз поэта уже не замечает таких «единственных» красок.

Драма, поставленная на сцене жизни:

— Двадцатый век, Тбилиси,

Проспект Руставели —

как натянутая струна души.

Течет и наша жизнь,
Качается на нежнейшем острие этой струны.

(Подстрочный перевод)

Эта «сцена жизни», так же, как «струна души» и ее «нежнейшее острие» ничего внятного не сообщают зрению читателя. Потому что эти слова давно потеряли свою первоначальную образность. Они превратились в стереотипы и больше не раздражают сетчатку нашего глаза.

Всей этой картине недостает компонента — «тедзмийского сланца».

Но, к счастью, стихотворение здесь не кончается и неожиданно, к нашему величайшему удовольствию, в бледный городской пейзаж входит образ, который все вокруг оживляет. Это «глаза цвета реки»:

Ваши глаза речного цвета
Напомнят мне далекие луга...
И на тихой улице, в месяц апреля
Белую церковь, тишайшую веру
Напомнят мне удивительные
Глаза ваши цвета речной воды.

(Подстрочный перевод)

Это стихотворение интересно еще и с другой стороны. Как я уже говорил выше, в современной молодой поэзии существуют контрасты. Один из этих контрастов создают две поэтессы: Тамар Джавахишвили и Далила Бедианидзе.

Они — поэты разного возраста, что тоже имеет значение, но далеко не решающее. Главное то, что они по-разному смотрят на реальность, по-разному видят одни и те же предметы.

Различно их отношение и к Тбилиси.

Можно подумать, что когда они пишут о Тбилиси, то имеют в виду два разных города.

«Тбилисский хаос, тбилисские ветры, тбилисские измены, забвение и равнодушие»... — пишет Т. Джавахишвили. Это знакомый Тбилиси, известный нам по грузинской поэзии. Это Тбилиси Галактиона, Тбилиси Паоло Яшвили, позднее — Тбилиси Ладо Асатиани и Мирзы Геловани. Здесь «хаос» — чисто внешний, ибо на самом деле все слито в одну, ласкающую слух, томительно-неделимую гамму.

Это микро-Тбилиси, сформировавшийся в начале нашего века. Это тот уютный город, где все друг друга знают, и где ничего невозможно скрыть. (Должен признаться, что лично для меня тоже Тбилиси по сей день означает именно это).

Тбилиси Далилы Бедианидзе — совсем другой — город, коренным образом изменившийся на протяжении последних двух десятилетий. Его движения взвинчены, его клетки гипертрофированы. Это город, по кварталам которого можно ходить годами, не встретив ни одного знакомого лица.

Далила Бедианидзе нигде почти не рисует (в точном смысле) этого города, но в некоторых ее стихах явно прослу-

шивается его аритмичный пульс — его «тишина», разорванная в ключья. (Таковы стихотворения: «Музыканту», «Алкоголь», «Перед уходом в кино», «Есть ли у вас телевизор?»).

У Далилы Бедианидзе нарушена та гармония, то внутреннее равновесие, на котором держится стих Тamar Джавахишвили.

Субъективно, мне, конечно, больше нравятся стихи Т. Джавахишвили. Легче их воспринимаю, быстрее запоминаю. Но с другой стороны, я думаю, что новый путь лежит все-таки в той стороне, куда интуитивно тянется Далила Бедианидзе, порой с явным риском.

Как поэт она — кровное дитя современности — в первую очередь той именно «разорванной в ключья» гармонии, которую молодой Леонидзе противопоставлял «церковной тишине старой Грузии». Правда, в глубине души она этой дисгармонии страшится, стараясь, как один из ее героев — непримиримый музыкант — прикрыть ее полой, заглушить, упразднить, но она уже не может убежать от нее и вынуждена в ее же недрах искать новые созвучья.

Все это ищет исхода в версификации, в лексике, в образном строе. И все это зреет и тратится не зря...

Далила Бедианидзе — для меня имя совершенно новое. Много нового я обнаружил в ее стихах — или мне так показалось. Я говорю не совсем уверенно, потому что не убежден до конца — в самом деле прочувствованы некоторые ее образы или просто «сочинены». Вот, к примеру, такое сравнение:

Небо виднеется такое смятенное
и изменчивое,
Как сон человека,
потерявшего родину.

Что это — пережитое или придуманное? Это имеет значение в поэзии, ибо чистый вымысел не развивается, не оставляет следа. Пережитое же продолжает существовать в силу тайной закономерности, переходит в другие образы, углубляется, растет, приобретая характер органичной системы.

Если это прочувствовано, испытано, если это органично, то, значит, мы имеем дело с необычным поэтом. Таким, который может сделать своим чужое переживание. В лирике это очень редкое качество.

В стихах Далилы Бедианидзе ощущается особый «жар», высокая температура чувства.

Ее слово страстно. Оно не остывает в стихе:

Не заходи, не заходи,
Не заходи, солнце!
Побудь еще немного
На свете, солнце!

Здесь, конечно, слышен голос женской страсти. Но Далиле Бедианидзе не чужда и другая страсть — страсть поэта. Поэтому она так болезненно ощущает нехватку слов. Это сознание пронизывает все ее творчество: «У меня не осталось ни

одного слова», «Иссякли слова, я молчу», «У меня нет слов для тебя» и т. д.

Резче всего неудовлетворенность устоявшимся поэтическим словарем выражена в такой формуле:

Эти слова так изъедены молью,
Что ни веса у них не осталось, ни цены,
Сказать — все равно что из кармана
высыпать мелочь.

У Далилы Бедианидзе есть несколько стихотворений, в которых недовольство истертыми словами дает положительный эффект.

В одном таком стихотворении любовь сравнивается с котром, возле которого греются ночные сторожа. По существу, это стихотворение — развернутая метафора. И здесь прекрасно то, что эта метафора конкретна, жива. Сравнение потеряло функцию украшения. Оно не прихорашивает чувство, а раскрывает его. Рисует его самобытность, неповторимость.

Можно сказать, что это аналитическая метафора — очень характерна для молодого поколения нашей поэзии.

Далила Бедианидзе сама не всегда соблюдает свои же требования. Например, когда она пишет:

Мое поколение на все требует ответа,
Оно поверит и защитит только правду.

Это слишком общие слова. Здесь все правильно и оправдано с точки зрения мысли, но этим словам недостает точности, недостает эмблемы поколения.

Разговор о Далиле Бедианидзе несколько затянулся, а главного я еще не сказал. Главное же то — что я в каждом поэте искал что-то новое. И решил останавливаться только на том, что является действительно новым, свежим, что не заимствовано поэтом, а заново открыто и внесено в поэзию им самим — как свое собственное, приобретенное самостоятельным путем.

Таких «независимых» стихов, разумеется, меньше, чем «зависимых», но дальше я постараюсь строже придерживаться избранного принципа и говорить в первую очередь о новом.

С точки зрения оригинальности и органичности из стихов Д. Бедианидзе я бы выделил одно:

Сегодня футбол. На улице
Мужчины волнуются и разговаривают.
Как гнедой конь перед скачками,
Беснуется город.
А женщины возятся с детьми, —
Вешают на бельевую веревку
Накрахмаленное мартовское небо,
и как гибкая спина рыбы,
на солнце блестят их плечи...

— Как видите, это живая картина и в то же время — живое, собственное отношение к этой картине.

Одним словом, — это поэзия со своей сутью, вечно переменичивой, вечно стремящейся к обновлению.

Маяковский писал: «Улица корчится безъязыкая». Когда поэт болезненно ощущает немому предмету и старается дать им живой язык, это значит, что он выбрал трудный путь и долго еще не успокоится.

Д. Бедзианидзе принадлежит к таким поэтам. Ей присущи основные качества — талант, упорство, страсть, — необходимые для избранного ею пути.

Грузинской критике уже известно имя **Вано Чхиквадзе**. Его стихи заслужили и поддержку, и достаточно резкие возражения. В отличие от большинства поэтов своего поколения он работает спокойно, без формальных катаклизмов, по капле собирает чувства, мысли, впечатления, преподнося читателю лишь чистые, незамутненные капли.

Он любит писать акварелью. Подобно многим поэтам, непосредственно предшествующим ему, Вано Чхиквадзе двигается по направлению, указанному Галактионом.

Значительная часть его стихотворений — небольшие лирические зарисовки. В них преобладает ясный, умытый и очищенный дождем пейзаж. Такими зарисовками особенно богата его вторая книга. Главная его сила — изящно вылепленная деталь: «Помню, на улице слепого музыканта со смычком, поднятым, как промоотвод». Этот поэт — сторонник «сентиментальности» в лирике. Его главные враги — бессердечные, грубые, мелочные прагматики.

Поэзия вообще — удел мягкосердечных натур. Смешно думать, что Киплингу или Маяковскому не доставало чувствительности. Они могли уступать в этом качестве другим поэтам, по сравнению же с остальной частью человечества оставались неисправимыми «сентименталистами».

Можно только приветствовать нестигаемую волю Вано Чхиквадзе — его стремление противопоставить зловецам потугам бессердечия — добро и чуткость любящих сердец.

Мир чувств и представлений, в котором он живет, — давно освоен грузинской поэзией, но здесь поселятся еще многие, такова притягательная сила этого мира. Мир входящим! И старые континенты нуждаются в любви и заботе, тем более, если на них еще много белых пятен, а недра практически неисчерпаемы.

Али Гугуцидзе — совсем новое имя в грузинской поэзии. И я рад, что в этой статье впервые его произношу. Насколько я знаю, он не «профессиональный» поэт. (А. Гугуцидзе заведует лабораторией и считается перспективным ученым). Но он поэт истинный. В этом я не сомневаюсь.

Когда читаешь его стихи, возникает отрадное чувство. Чувствуешь, что появился новый поэт, что он сам рад соприкосновению с грузинским словом, рад самому факту, что пишет стихи. Есть что-то утешительное и обнадеживающее в этом ощущении!

Вот как говорит А. Гугуцидзе о девочке, которая становится женщиной:

Ты втаптываешь в тропинку красивыми

ногами



Мысли, которых никто не понимает,

И в шкафу, как пчелы,

Жужжат твои коротенькие платья.

ფაჩუბუბუბი
ვარსაქობის

Лично я впервые узнал, что девичьи платья могут жужжать как пчелы. Услышал и обрадовался. Ибо, по-моему, это та самая особая, редкая информация о предмете, которую может дать только поэт.

Есть у меня и замечание: существуют понятия, употребляя которые в метафорическом контексте следовало бы запретить хотя бы на несколько десятилетий.

У Али Гугуцидзе есть такая строка: «Твоя душа, бессмертная, как феникс». Это штамп. Справедливости ради скажу, что он звучит диссонансом в стихах молодого поэта. В целом язык его тяготеет к новизне. Но не всегда А. Гугуцидзе удается перевоплощать мысли в чувства, иногда он нам предлагает рифмованные рассуждения.

В поэзии А. Гугуцидзе особенно отрадно стремление к остроте, неординарности. Он немного «мучает» стих, мучается сам, не избегает углов, не смягчает слова. Что-то готовится, мерцает в этих разорванных формах, — контуры новой симметрии, новой формы.

Слух грузинского читателя недавно свыкся с именем **Мурмана Джгубуриа**. Я имел возможность познакомиться с довольно солидным сборником его стихов (1972 г.). Он дает определенное впечатление о поэте.

Я полагаю, что Мурман Джгубуриа поступает правильно, щедро внося в поэзию колорит мегрельского села. Стих наполняется новыми предметами и новыми словами.

В поэзии синонимы играют большую роль. Хорошо, что грузинский литературный язык обогащается, становится многообразным, подчиняет и использует во благо диалекты.

Однако, этот процесс нуждается в разумном руководстве, в каждом отдельном случае необходим тщательный отбор.

Увлечение местным колоритом не мешает поэту четко видеть и изображать некоторые тревожные явления жизни. Картины современной грузинской деревни нарисованы им без прикрас. Идиллии и в помине нет. Мурман Джгубуриа постепенно овладевает стихом. Он хорошо знает цену слов и старается этим словом выразить лишь искренние мысли и чувства. Он избегает громких фраз, обращается со стихом честно, совестливо.

И патриотические чувства здесь проявляются, как правило, в стремлении послужить отчизне словом и делом, в пафосе беззаветной самоотдачи. Однако, иногда в стихах М. Джгубуриа вкрадывается неожиданный мотив безысходности или странного индифферентизма.

И ничего я не хочу знать,
Как бы ты там ни думал,
Своими дорогами идет жизнь
Вечно.

Этими строками заканчивается его книга. Скажем прямо, строфа по-грузински звучит не очень изящно. Но если бы да же поэт выразился складнее, я бы все равно с ним не согласился, потому что эта мысль тривиальна. Так могут сказать многие. И говорили тысячу раз. От поэта ждут другого. Поэт должен доказать именно то, что «и невозможное возможно», что чудеса в самом деле случаются, и что поэзия — сама одно из таких чудес.

Я думаю, что для М. Джгубуриа это лишь временное настроение, и означенные строки случайно попали в конец книги.

Я заметил несколько стихотворений Григола Джулухидзе в довольно большой книге, вышедшей в 1976 г., в частности «Ветвь света» и «Мирозданье».

...С хихиканьем дьявол считает
Гвозди, оставшиеся в твоих ступнях.

От написавшего это следует ждать точных и острых слов. В книге есть такие образы. Но строка Джулухидзе иногда обмякает. Неподчиненная форма искривляет мысль. Это случается тогда, когда он доверяется случайным ассоциациям и теряет контроль над словом.

Ходит Галактион,
Ветер раскачивает чинары...
Дороги почетные
Развевают печали.

«Дороги почетные» не означают ничего, кроме неточности, допущенной в угоду рифме, тем более, когда эти дороги «развевают печали». Это элементарная недисциплинированность мысли.

Я не сторонник казарменного режима в поэзии. Но «поэтический беспорядок» оправдан только тогда, когда за ним следует новый порядок поэтического мышления, поэтического вкуса, когда это беспорядок лишь внешний, предвещающий утверждение новой закономерности. Во всех иных случаях, перед нами не поэзия, а «прочее».

Когда сам Галактион писал: «Как чинара, так и поэт, — для него высота-мука» — это конечно было отступлением от тогдашних «правильных» норм, поэтического изъяснения, но, как показало время, этим в грузинской литературе утверждалась не простая алогичность, а новая поэтическая логика.

Хорошее впечатление произвела на меня книга Шота Кавтарадзе «Междуречье». Какая-то вдекущая чистота царит в этой маленькой книжке, которую украшает так же бережно написанное предисловие Гиви Гегечкори.

Повтори меня, господи, повтори,
Повтори еще когда-нибудь...

Не думайте, что желание повториться вызвано здесь обычным биологическим импульсом. Об этом просит поэт, раз и навсегда очарованный ночным мерцаньем звезд и навсегда ра-

ленный бедой ближнего — жителя селя Патардзеули Ники Гиунашвили, потерявшего на войне обе руки.

Джансуг Чарквиани благославляет в путь **Номади Бартая**. Этот поэт заметно отличается от остальных. У него особое чувство формы, какая-то мужественная сдержанность, зоркий глаз.

Он против поэтизмов, но если надо, умеет и приласкать и сделать изящный комплимент. Он сознательно поджимает конец стихотворения, чтобы не давать воли лишним словам и ассоциациям. Многие из его наблюдений подчеркнуто неприятельны и обычны. Он словно говорит языком хроникера, но в этих сухих информациях порой блеснет дивный луч.

Я не знаком с Номади Бартая, но уверен, что он — здоровый, честный, прямой человек, любящий во всем порядок. Я уверен, что в его чисто прибранной комнате, на самом почетном и удобном месте стоит кресло, приготовленное для друга.

Номади Бартая нашел свою интонацию:

Если бы знал ты, мой Гурам,
Как, оказывается, все любил тебя!
Оплакивать тебя, горемычный,
Откуда только не пришли люди!
На кладбище Наджахао
Похоронили тебя на закате,
На твоей могиле твоя жена
Лежала, как черный плат.

Это сердечная и в то же время благородная, спокойная интонация.

Но она часто повторяется, и бывает момент, когда читатель ждет от поэта чего-то другого (во всяком случае, один читатель — в моем лице). Монотонность в поэзии оправдана лишь до определенного предела.

Я думаю, что все написанное Номади Бартая до сегодняшнего дня, лишь ступень в его биографии. После этого перед поэтом должно раскрыться новое пространство.

Будет досадно, если этого не случится.

Книга **Мамуки Циклаури** называется «Большой листопад». Я не предполагал, что у нас в Грузии есть такой раздавленный тоской поэт. Такой безмерно грустный. Самое странное, что его печаль не всегда вызывает глубокое сочувствие. Сначала, понятно, по-человечески огорчаешься, хочешь чем-нибудь помочь, что-то предпринять. Но постепенно начинаешь привыкать к этому непрерывному стону и в какой-то момент перестаешь на него реагировать. В чем дело? Что вызывает такое равнодушие? Мне кажется, вот что: поэт должен уметь переплавлять свое горе в радость. В этом назначение поэта.

Примеров много. Я приведу один. Вряд ли найдется в Грузии прошлого столетия поэт более несчастливой судьбы, чем Николоз Бараташвили. Но он смог найти выход своей тоске. Отчаянье преобразилось в энергию, прорвав огромную стену безнадежности, поэт вывел своего Мерани в необозримые про-

сторы действия. «И легче будет моему собрату пройти за мной когда-нибудь вперед...».

Печаль, запертая в душе, разведает ее и опустошает бесплодное чувство.

Я хочу надеяться, что и Мамука Циклаури сокрушит свою стену. Поручкой в том должна стать та «непоколебимая» действительность, которая питает его поэзию — горы Грузии.

В этом поэте я вижу потенцию, которая еще не проявилась в полной мере. Есть у него образы внешне довольно экспрессивные, но им недостает абсолютной точности. Кажется, что воображение, фантазия поэта, не дождавшись своего единственного, точного лика, воплотились в первом же попавшемся предмете.

Вот как рисует поэт весну:

И обезглавленная весна
Возле твоего капища,
Как закланый телец,
Трепещет в крови,
Бьется о землю
безголовым телом,
ногами роет,
хочет привстать,
выпрямиться и полететь в луга.

Ведь эффектный образ, не правда ли? Неожиданный, оригинальный. Такого весну мы еще не встречали нигде. И экспрессии этой картине не занимать, и страсти. И все-таки это несовершенный образ, ибо между идеей (идеей весны) и ее воплощением (заколотым на жертвеннике тельцом) мы не обнаруживаем внутреннего, безусловного согласия.

Иллюзии их адекватности в первую очередь мешает весьма условное живописное осмысление этого образа. Картина умирания весны с трудом вяжется с этим кровавым зрелищем. Здесь как бы перепутаны краски в силу своеобразного поэтического дальтонизма или чрезмерной художественской смелости.

Надеюсь, меня не поймут так, будто я требую от художника живописать в угоду «нормальному» зрению. Нет! Поэт именно тем и интересен, что он по-другому видит предметы, обнаруживая в них невидимые для нас краски и оттенки. Но и эта свобода, и это нарушение должны иметь свои границы и — главное — свою внутреннюю закономерность. В творчестве Мамуки Циклаури можно найти и прямо противоположные примеры. Он пишет:

Но однажды загрохочет в горах
Желтое слово: «Осень».

Когда поэт характеризует осень «желтым» (или ночь — «черным», снег — «белым», море — «синим» и т. д.), это значит, что он дал нам о предмете минимум поэтической информации.

Я уже второй раз употребляю этот термин.

Аналогии с наукой и техникой всегда рождают недоверие, но эта аналогия, если ею пользоваться осторожно и разумно, во многом оправдана.

Богатство или бедность поэтической информации распределяются **приблизительно** (это слово здесь необходимо!) так же, как в научной информации.

«Количество» сообщения здесь тоже зависит от того, насколько новым и редким является то знание о том или ином явлении, которое мы с его помощью приобретаем.

Вот пример богатой поэтической информации: «И снег осыпал меня усталым хлопьями».

Мы и до Галактиона Табидзе знали достаточно много свойств снежных хлопьев: белые, мокрые, холодные, сверкающие, легкие, пушистые и т. д.

«Усталость» их мог заметить только обостренно-зоркий глаз поэта.

Здесь решающее значение имеет еще одно обстоятельство: информация в поэзии (как и в науке) должна схватывать существенные, истинные свойства предмета (речь идет, конечно же, о поэтической истинности).

Когда это не так, когда новизна и редкость самоцельны и служат лишь тому, чтобы поражать наше воображение — это значит, что мы имеем дело с явлением иной категории.

Это явление я бы назвал **поэтической дезинформацией**, отметив при этом, что оно, как правило, сопутствует не настоящим переворотам в поэзии, а лжеинноваторству.

Моя строгость (и, возможно, придирчивость к некоторым мелочам) вызвана тем, что Мамука Циклаури — один из интересных и многообещающих представителей своего поколения.

То, что его сверстники возлагают на него особые надежды, я увидел в рецензии Давида Мчедлури, посвященной последнему сборнику М. Циклаури.

В творчестве Мамуки Циклаури мне дорого одно существенное качество: по своему содержанию это горькая поэзия, беспокойная, непримиримая к фальши и полуправде.

Он не ищет внешней нарядности. В поэзии «комильфо» для него неприемлемо. Не чурается он и дерзости. Вот, что говорит он о нашей планете:

А Земля все кружится и гонится
за дьяволом,
Как та собака, которая возится
со своим хвостом.

М. Циклаури нравственно бескомпромиссный поэт: «Лжешь... боишься... не стыдись, фальшивишь... Ты раб со связанными руками, но себе в этом не признаешься».

Таковыми словами будят разум, не позволяя погружаться в позорную нирвану самодовольства.

В этом плане автор «Большого листопада» на самом деле занимает то место, которое выделил ему автор вышеназванной рецензии. Только я считаю, что слово «оптимизм» в статье

нии назывался тот самый день, в преддверии которого гремят барабаны?! Так же трудно понять, что за «три щепочки», которые поэт бережет для «тусклого костра» все того же (ионного) времени. Непонятность, разумеется, не относится к «любви с пересохшими губами». Но что такое «реки без русел» и «ночь жен»? Если здесь имеется в виду ночь любви, то куда делся «муж»? И чем вызвана форма множественного числа? (Неужели поэт провел ночь в гареме и оттуда направился «на проспекты»?!).

Так же неясна, искусственно затуманена следующая картина:

...По этой дремучей
Ледяной лестнице
Прoberусь

К космическим ушелям
И бесприютность планет
Позабуду как будничные
мелочи.

Мне кажется, что здесь сама мысль автора свернула в сторону «реки без русла», и все смешалось...

Такое множество противоречивых, исключаящих друг друга ассоциаций создает не богатую эмоциональную гамму, а впечатленье элементарной неупорядоченности и эклектики.

Сейчас много говорят о контрапункте, как о характерном для современной поэтики признаке. Но не надо забывать, что контрапункт обозначает сложное согласие, а не распад и беспорядок.

Я еще раз хочу вернуться к финалу этого стихотворения, ибо именно из заключительной его части следует, что Дикарджи Пховели может четко, лапидарно выразить свой замысел. Там, где мысль сама по себе весома, отчетлива и ясна, форма выражения тоже приобретает соответствующую силу.

В поэзии число любителей «барабанного боя» постепенно уменьшается, но в этом стихотворении этот звук оправдан, потому, что служит не аккомпанементом к очередному торжеству, а звучит, как призыв к противоборству с «земными сумерками», напоминает о братстве и добре.

Давид Мchedлурн назвал свою тоненькую книжечку «Пиримзити».

«Пиримзити» — только одна сторона горы — солнечная. И в этой книге только часть стихов залита солнцем. Над другой же сгустились тревожные тени.

Давид Мchedлурн — лирик по натуре (в традиционном понимании этого слова). Он всегда готов мечтать, и его лирические эскизы чаще полны мягких, теплых, прозрачных тонов. Но и он не меньше других негодует, столкнувшись с ложью и фарисейством.

Твой совет:
— Выйдем на проволоку,
Скорее к лицу
Паяцу и лицемеру.

Сзади преследует нас
рев Мацила¹.
И внизу клокочет
мутная вода.

¹ Мацил — в фольклоре грузинских горцев — сатана, злой дух

Лучше решим
идти прямо,
Выведем желанную
женщину.

Бог перед нами
Крепость Каджети,
Но все ее ворота
закрыты наглухо.



Давид Мчедлური умеренно вносит в поэзию диалектизмы, слова из сельского быта, кропленные росой.

Эти слова наполняют стих теплым запахом земли и трав, оживляют, расцветивают лексику поэта. Я считаю, что это вообще животворное течение в современной грузинской поэзии.

Давиду Мчедлური нужно еще немало потрудиться над более совершенной инструментальной стиха. Пока у него встречаются как прекрасно отточенные лирические этюды, так и слабые, сниженные строчки.

Среди тех молодых поэтов, с книгами которых я познакомился в последнее время, по-моему, стихотворной техникой лучше всех владеет **Тедо Бекишвили**.

Прежде всего, он (как и Б. Харанаули) почти безошибочно чувствует главный «строительный материал» стиха — слово, его внутреннюю потребность и органические тенденции. Поэтому, Т. Бекишвили нигде не прибегает к «насилию». Подобно старым «горячим» каменотесам, он все время прислушивается к требованиям самого материала, обрабатывая его согласно его природе.

Стих Тедо Бекишвили по сравнению со стихом Мамуки Циклаури и Джарджи Пховели внешне спокоен, упорядочен, строен, но тем не менее, Т. Бекишвили мне представляется поэтом драматического склада. В целом ряде своих стихотворений он подсознательно (или явно) с кем-то борется, составляется, спорит — в первую очередь, с самим собой.

Большинство его стихов написано в «диалогической» форме, и эта форма здесь очерчена наиболее отчетливо (резче, чем у кого-либо из его сверстников), как самый совершенный способ добычи истины. А для Тедо Бекишвили, как и для большей части поэтов его поколения, истина важнее всего — красоты, гармонии, даже счастья.

Хочу подчеркнуть, что жажда правды и правдивости — самая характерная черта и самое большое достоинство грузинской молодой поэзии 70-х годов.

Пафос поиска истины в поэтике Тедо Бекишвили, в его поэтическом стиле совпадает с одним интересным явлением.

Я хочу сказать несколько слов о его языке, о манере его поэтической речи.

Возможно, мое мнение субъективно, но я убежден, что Т. Бекишвили является продолжателем определенной языковой традиции в современной грузинской поэзии.

Это традиция Иванэ Мачабели.

Тедо Бекишвили ищет «единственные» слова, самые точные эпитеты.

С этой стороны его стих отличается образцовой внутренней дисциплиной.

Я часто думал, что не могло пройти бесследно то, что стало качественно новым достоянием грузинского литератур-

ного языка в прошлом столетии в лице переводов Шекспира, вы-
полненных И. Мачабели.

И вот, спустя почти полвека, эта традиция вновь ^{снова} ^{возвращается}
лась в белом и свободном грузинском стихе.

Не знаю, насколько сознательно и осмысленно это проис-
ходит, но преемственная связь здесь очевидна.

Связь эта у Т. Бекишвили проявляется в грамматическом
строе речи и еще более явно — в интонации.

Между И. Мачабели и Т. Бекишвили лежит, разумеется,
не пустое пространство. Еще раньше этот строй и эту интона-
цию успешно использовал Арчил Сулакаури.

Еще одна оговорка: я не хочу, чтобы кому-то показаться,
будто молодого поэта упрекают в эллигонстве. Я лишь указы-
ваю на национальные истоки его творчества.

Т. Бекишвили, бесспорно, освоил, по-своему приручил ука-
занную форму. Кроме этого, лексика его стиха уже иная. В нее
вошли как новые «городские», так и фольклорные элементы.

Всякий настоящий поэт — в первую очередь выразитель
мыслей и чаяний своего поколения. У Тедо Бекишвили есть
стихи, которые раскрывают первопричину душевных движений
не только этого поэта, но и многих его современников.

Я хочу привести целиком одно такое стихотворение:

Какая вина
тенью сопровождает
мою жизнь?
Чей взгляд,
Тайный, неотвязный,
Сковывает мой шаг,
какая отравы
осадком мутит
мою древнюю кровь?
Чей урожай желчный
я пожинаю,
каких предков,
каких времен,

каких поколений?
Загляну в прошлое —
полную мрака бездонную
расщелину,
и чувствую:
как дно постепенно
поднимается вверх...
Кто, кто найдет меня,
Спустя также тысячу лет?
Кого собью я с пути,
Чью радость заслону
по милости
неверных дорог моей жизни?

(Подстрочный перевод)

Я думаю, читатель согласится со мной, что не часто при-
ходится слышать такие бесстрашные и безжалостные стихи от
наших современников. В контексте лирического творчества
Т. Бекишвили они звучат не проповедью безысходности, а
именно как призыв к разрешению всех неподдающихся легкой
развязке узлов бытия, жизни, а также к глубочайшему созна-
нию ответственности перед ее грядущими продолжателями, от-
ветственности за каждый собственный шаг, за каждую вы-
бранную дорогу.

Недовольство достигнутым — могущественное чувство.
Тот, кто к нему приобщился, не застынет на одной точке.

Именно здесь вижу я перспективу нашей молодой поэзии,
ее будущее, залог ее грядущих непоказных, трудных успехов.

И еще одно замечание, без которого мне просто жалко ста-
вить последнюю в этой статье точку.

Удивительное совпадение: почти сто лет прошло с тех пор, как сыновья Павла Разикашвили¹ принесли в нашу поэзию свежее, живительное дыхание высоких гор Кавказа. 60-е и 70-е годы ХХ века на авансцену вновь вышла целая плеяда «горцев»: Берикашвили, Хуцишвили, Тедо Бекишвили, Джарджи Пховели, Мамука Циклаури, Давид Мчедлури, Багатер и Алуда Арабули.

Все они (если я не ошибаюсь) ныне — жители Тбилиси, но в их поэтических генах содержится особое вещество, особая упрямая сила, которая должна, по моему глубокому убеждению, преобразиться в благотворную энергию.

Надо сказать, что ни один из перечисленных поэтов еще не проявил полностью своих возможностей, не сделал столько, чтобы можно было судить о подлинном переломе, об этапном явлении, осуществленном целиком. И все-таки в творчестве лучших представителей этой плеяды, как и талантливейших представителей всего их поколения, есть одна весьма примечательная склонность, которая рано или поздно должна увенчаться качественными переменами.

Свое начало («первый толчок») эта тенденция, это ярко очерченная творческая воля берет в лоне родного языка, в его народной стихии, ибо именно этих поэтов отличает как прирожденный вкус к «крепкому», предметно-образному грузинскому языку, так и сознательная ориентация на полное раскрытие заложенных в нем возможностей.

Безупречное владение родным языковым инструментом не только помогает, но и поощряет этих поэтов в их главном стремлении — к жизненной правде, к полной правдивости выражения, что в их творческой практике неотделимо от воли мыслить, все глубже вникать в суть жизни, в истинную природу вещей.

Мысль и естество, идея и материя у поэтов плеяды Харанаули² не только сталкиваются, но и образуют нечто практически неделимое...

Давно прошли времена, когда в грузинской поэзии замечали главным образом «колорит», «эмоциональную насыщенность», «пламенный темперамент» и т. д. Сегодня больше говорят о философичности и своеобразной интеллектуальности, особенно, когда речь идет о таких поэтах, как Галактион Табидзе, Симон Чиковани, Анна Каландадзе, Отар Чиладзе.

У поэтов нынешнего молодого поколения эти черты приобретают новые оттенки. Их поэтическое мышление все чаще и настойчивее тянется к вещественности не только в условно-поэтической ее разновидности, но и в той ее форме, которая по традиции считается свойством и достоянием прозы.

Такая склонность в принципе не нова для грузинской поэзии XX века. Уже в середине 20-х годов бывшие «голуборогов-

¹ П. Разикашвили — отец Важа Пшавела — из семьи которого вышли еще два грузинских писателя Бачана и Тедо Разикашвили.

² Об этом поэте см. подробнее в моей статье «Истоки поэзии» («Дружба народов» № 12, 1978 г.).

ды» бросили знаменитый лозунг: «Возвращение к земле», который был подхвачен многими поэтами. Очень многое в этом направлении сделал, в частности, С. Чиковани.

Однако сложилось так, что традиции «чистой» и Галактиона Табидзе, как правило, брали верх над этими тенденциями. Каждое новое поколение начинало свой путь под их (особенно Галактиона) преимущественным влиянием. В этом же направлении действовал и продолжает действовать по сей день и более поздний пример Анны Каландадзе — самой «чистой» из грузинских лириков нашего столетия.

Таким образом представителям нашей литературной молодежи многое приходится начинать с начала, в противозем доминирующей поэтической инерции.

Задача и призвание этого поколения приобретают в настоящее время особый, можно сказать, исторический смысл.

Как известно, сегодня весь культурный, мыслящий мир охвачен тревогой о завтрашней судьбе того начала, которое условно обозначено понятием «духовности». Речь идет о том, чтобы человеческий дух и разум одержали верх и подчинили себе то, что они производят материально.

Однако, спасение «духовности» отнюдь не подразумевает полного его отключения от материального мира.

К счастью, не сбылись пророчества многих лжепророков (включая русских конструктивистов), объявлявших главным свойством культуры нашего столетия ее полную дематериализацию.

Пустые структуры — порождения современной «цивилизации» (в самом узком смысле), а не культуры.

Не случайно, наиболее сильные, жизнестойкие поэты XX в. с самого же начала своего пути обратились к «Листьям травы» Уолта Уитмена (в Грузии таким ориентиром суждено было стать наследию Важа Пшавела).

Человек полюбил землю нежнее и крепче, преодолев силу ее притяжения. Неопровержимое свидетельство этому не только ставший символическим пример Антуана де Сент Экзюпери. Об этом же говорят нам «Тихий Дон» Шолохова и «Сорок новых новелл» Хемингуэя...

Дальнейшее развитие грузинской поэзии требует нового взлета мысли, или, говоря иначе, нового «воспарения духа», которое невозможно без подлинной интеллектуальной зарядки. Но этот взлет нужен не для того, чтобы укрыться за облаками омыслительных построений. Его смысл и оправдание в способности шире обозреть реальный мир, всмотреться в многочисленные предметы этого мира, в их связи и сплетения, уловить их настоящее движение, познать и проникнуться их вечноменяющейся, вечнообновляющейся жизнью.

Нужен новый дар чувствительности и вдохновения, способный создать обширнейшее пално, многоцветное, многообразное, многоликое — не так называемое «мозаичское» искусство (результат поверхностных соединений), а глубинное, самобытное творчество — прозревающее внутреннюю монументальность жизненных явлений и универсальность их связей.

Это должно быть вдохновение, чья сильная волна подымет над собою как приметы современного «бытия», так и реалии древности «бытия».

Короче говоря, в грузинской поэзии должно стать действительностью то, о чем мечтали с первых же десятилетий нашего века и ощущение необходимости чего постепенно усиливалось (от Галактиона до Ладо Асатиани)¹.

Все это, разумеется, касается не только «потомков братьев Разикашвили». По сути своей — это призвание всего поколения. Но поскольку в данном контексте сначала речь зашла именно о них, то необходимо учесть и великий пример поэта, обессмертившего свой род.

Важа Пшавела именно тем выделился и возвысился над многочисленными стихотворцами, писавшими в его манере, что он, не забыв о «корнях», о «почве», о «земле», смог однако с высоты своих «гор» окинуть взглядом весь мир и слить свою мысль с «царством» самых высоких мыслей эпохи. Поэтому предстал перед его взором «мир многоцветный» в руставелевском масштабе. Поэтому сумел он так глубоко и ясно выразить «величие страстей» своего времени.

Такая потребность стояла на исходе XIX в. в грузинской поэзии так же остро, как в 70-х годах нашего века.

«Церковная тишина» Грузии давно канула в прошлое. Разрушены стены, в которых звучали голоса незамутненной чистоты. Нужно новое звучание, другой резонанс, более широкий диапазон.

Грузинский поэт сегодня стоит на жестоком сквозняке мировых перекрестков, в водовороте новых страстей. Он должен овладеть новыми пространствами, должен исполниться их безграничностью, постигнуть их глубины, охватить, запечатлеть, услышать, дозваться...

Сможет ли одно поколение осуществить все это? Трудно сказать. Но в нынешних его действиях видны именно такие устремления.

¹ Содержание передовицы, напечатанной в 1922 г. в журнале «Галактион Табидзе» (призыв к великому «микеланджеловскому» искусству) сегодня широко известно. Весьма примечательны в этом плане следующие строки из письма Ладо Асатиани к Мирзе Геловани: «Наши грандиозные и грозные дни должны быть изображены, как громадное панно».

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ

ТРУДНЫЙ ЖАНР

(ГРУЗИНСКАЯ КРИТИКА: НОВЫЕ ИМЕНА, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

Критика как литературный жанр по легко объяснимым причинам весьма трудная стезя для «молодежной деятельности». Профессия критика — его мнение, а оно складывается в результате опыта, твердых убеждений, устоявшихся представлений, вкусов, пристрастий. Наличие всего этого у молодого человека — явление редкое. Кроме того, это ведь не мнение частного лица. Оно в данном случае в силу специфики литературной критики претендует на общественную значимость. А это ко многому обязывает, накладывает на критика большую ответственность. Еще со студенческой скамьи избрать карьеру профессионального критика мало кому под силу. Поэтому естественно, что в литературной критике нет периодически сменяющегося обилия новых имен, столь характерного для поэзии и прозы. Я не припомню случая (по крайней мере в Грузии), чтобы автор хотя бы нескольких интересных статей не удостоился внимания немногочисленной семьи грузинских критиков. В силу своей специфики критика предполагает нечто вроде возрастного ценза. Тем приятнее, что в ее рядах — все больше молодых...

Сегодня мало кто окрестит «молодыми критиками» Георгия Гачечиладзе или Кобу Имедашвили, Джансуга Гвинджилия или Джумбера Титмерия. И это не только потому, что они совсем недавно перешагнули за условную возрастную черту. Но еще и потому, что определение «молодой» перед обозначением профессии в какой-то мере подразумевает и определенный аванс, «дебютантскую скидку».

Среди тех грузинских критиков, которые и формально, и фактически принадлежат к молодому поколению, но в то же время не нуждаются в этом «дебютантском авансе», я бы в первую очередь назвал Сосо Сигуа.

В наше время поздняя профессионализация стала всеобщей проблемой. Поэтому в числе прочих достоинств Сосо Сигуа следует отметить и то, что ему еще нет и тридцати. Читая его последнюю книгу «Эпоха и проблема стиля» (1976), нельзя не заметить, что молодой критик остался верен принципам, которые с подкупающей

страстностью проповедовал в своей книге: для него изучение литературного процесса тесно связано с осмыслением происходящих в обществе социальных и психологических метаморфоз. Отсюда обостренный интерес к проблемам научно-технической революции и ряд тех вопросов, которым посвящены первые главы его книги. Когда автор кратко излагает суть таких проблем, как «элитарная и массовая культура» или же «кризис поэзии», он, естественно, не претендует на какие-либо открытия. Мы, в свою очередь, должны быть благодарны ему хотя бы лишь за то, что один из наших коллег взял на себя нелегкую миссию — провести неискушенного читателя по лабиринту сложнейших проблем современной культуры.

Еще одно достоинство книги Сосо Сигуа и в том, что глобальный масштаб излагаемых в введении проблем позволяет ему в дальнейшем более точно определять эстетическую значимость тех или иных явлений современной грузинской литературы. Уже сам этот замысел свидетельствует о несомненном литературном чутье критика. Однако здесь же надо отметить, что при воплощении своего замысла он не всегда удерживается от соблазна вместить живой литературный процесс в прокрустово ложе тех или иных концепций.

Во второй части книги, посвященной творчеству Константи́не Гамсахурдиа в 20-е годы, также немало интересных наблюдений. Тем более режут слух такие фразы, как «в душе носильщика пробуждаются репрессированные желания» (это сказано по адресу героя новеллы К. Гамсахурдиа «Большой Иосиф») или же набившие оскомину обороты подобно — «писатель дает картины преобразования личности...». Автору этих строк приходилось упрекать Сосо Сигуа в «стилевой небрежности» еще несколько лет назад в рецензии на первую его книгу. Однако С. Сигуа упорно остается верен своей манере и может написать, например: «импортные формы мышления». Так что, искренне ценя упорство Сосо Сигуа и так же искренне не приемля его стиль, заявляю, впредь ничего не говорить о манере его письма.

Формально все еще «ходит в молодых» Тамаз Цивцивадзе — критик с ярко выраженным полемическим даром. Его статьи, особенно в «родном» журнале «Цискари» (в первую очередь «Книга и редактор» и «Только лишь ради истины»), отличаются наибольшей принципиальностью и бескомпромиссностью.

Из молодых авторов журнала «Мнатоби» отмечу Мурмана Тавдишвили. Характерный для него обостренный интерес к творчеству писателей своего поколения ярче всего проявился в пространной статье «Новые имена» («Мнатоби», 1975 г., № 7), в которой доброжелательный взгляд критика, размышляющего о первых поэтических сборниках молодых авторов, сочетается с принципиальной оценкой их успехов и неудач.

Интересные авторы представлены и на страницах альманаха «Критика». Назову, к примеру, Левана Брегадзе и Константина Амиридзе. Рецензия последнего на сборник рассказов Реваза Инанишвили примечательна многими своими качествами. И тут уместно напомнить слова самого Реваза Инанишвили: «Критика должна осознать себя неотделимой плотью всей литературы. Надо пересилить себя и не читать только ради собственного удовольствия. Надо писать не только глубокомысленно, но и изящно, и, наконец,

надо позаботиться о привлечении читателя к критике» («Цискари», 1976 г., № 1).

Статьи вышеназванных молодых критиков, по моему мнению, в основном отвечают этим строгим, но справедливым требованиям.

Хотя вопросы практики и теории художественного перевода выходят за тематические пределы настоящих заметок, тем не менее не могу не отметить профессиональную добросовестность и аналитичность статей Левана Брегадзе.

Для современной грузинской литературы весьма показательно, что вслед за Тариэлом Чантурия, Эмзаром Квитаишвили, Гурамом Петриашвили, Мамукой Циклаури, Тедо Бекишвили на критическую стезю вступили их младшие коллеги по поэтическому ремеслу — Вахтанг Харчилава, Энвер Нижарадзе, Давид Мчедлური, Реваз Дanelия.

Из критических статей Энвера Нижарадзе наименьшие возражения вызывает его рецензия на поэтический сборник Отара Чиладзе — «Вторая половина сердца» («Цискари», 1975 г., № 11). Но, рассуждая о стихах Тариэла Чантурия, молодой критик приходит к весьма противоречивым выводам. В одном случае он пишет: «Тариэл Чантурия не рядовой гражданин, он поэт и пытается проанализировать происходящие вокруг него общественные процессы». А несколько страниц спустя, комментируя одну миниатюру поэта (в подстрочнике она выглядит приблизительно так — «Дети бросают друг в друга снежками, взрослые — комьями грязи»), впадает в другую крайность: «Хотя, возможно, к сожалению, это и действительно так, но, по нашему мнению, поэт не имеет морального права констатации и тем более преувеличения этого факта» («Гантиади», 1976 г., № 5).

Давид Мчедлური пока, думается, интереснее как поэт, а не как критик.

Более внимательный подход к избранным темам отличает Вахтанга Харчилава (здесь в первую очередь назову его рецензию на книгу стихов Шота Кавтарадзе «Двуречь»).

В ряде номеров альманаха «Критика» опубликованы также статьи Реваса Дanelия. Можно только приветствовать, что молодой писатель откликнулся на такую актуальную тему, как «БАМ, строители БАМа» («Критика», 1976 г., № 3), или же не упустил из поля зрения первую книжку стихов поэта его же поколения Рене Каландия («По поводу первых строк», «Критика», 1976 г., № 4). Однако нельзя не предостеречь Р. Дanelия от такой (тем более для поэта! — Р. Дanelия к тому же и поэт) опасности, как невосприимчивость собственной фальши. Он может написать, например, что «строка Рене Каландия высококачественно оживляет стремления и мысли человека», или же сказать о стихотворении Мориса Поцхишвили, что «музыкальное воздействие этого стихотворения весьма напряженно и внезапно. Рассеченное горькой улыбкой страстное лицо мужественной матери ярко виднеется на фоне заглушенного плача и большого трагизма» («Критика», 1976 г., № 1 и № 4). Здесь погрешностям стиля предшествовала нечеткость мысли. Но не исключено и то, что подобная манера письма в какой-то мере сама предопределяет нестройность и нелогичность суждений. Хорошо было бы, чтобы Реваз Дanelия с максимальным внимани-

ем перечитал свои статьи с учетом этого замечания и разобрался в изъянах своего «стилистического слуха». Если теперь же не усовершенствовать его, они могут со временем перейти в литературную глухоту».

Молодой прозаик Мака Джохадзе смогла сохранить присущую ей творческую индивидуальность и в амплуа литературного критика. Это больше всего чувствуется в исполненном артистизма очерке о творчестве Сандро Цирекидзе, интересного и незаслуженно забытого поэта-символиста. («Пирвели схиви» («Первый луч») — литературный альманах Тбилисского государственного университета, книга 11, 1976 г.).

Здесь же хочется упомянуть и университетских коллег Маки Джохадзе. В том же номере «Пирвели схиви» опубликованы статьи — Мананы Кипиани «К вопросу поэтической индивидуальности» (об особенностях творчества Симона Чиковани) и Марии Меурмишвили, прослеживающей истоки рассказа К. Гамсахурдиа «Хогаис Миндиа».

По тем двум статьям, с которыми предстал перед читателем молодой критик Гиви Шавишвили, все еще трудно судить о его профессиональном облике. Пока скажу лишь, что не разделяю основной концепции его статьи о поэзии Реваза Амашукели. Думаю также, что он гораздо ближе к истине там, где с меньшим пафосом и с большей убедительностью говорит о стихах молодого поэта Алуды Арабули («Критика», 1976 г., № 1).

Приятно было прочесть первые статьи Луизы Бочковой, опубликованные в «Мнатоби», «Цискари» и «Литературной Грузии». В рецензии на книгу стихов Гиви Гегечкори она нашла именно те слова (помните: «Сезам, откройся!»), которые открывают врата в удивительный мир творчества, мир, недоступный непытливому и равнодушному взгляду. «...Как бы богата и интересна ни была внутренняя жизнь человека, — пишет Луиза Бочкова, — она не может стать полноценной, если не вбирает в себя цели и устремления внешнего мира, общества. В жизни, душе, сердцебиении каждого индивида — жизнь общества. Нельзя не любить свою отчизну, какой бы ни была она; надо только лишь, чтобы эта любовь являлась не бесстрастным и самодовольным созерцанием всего сущего, а страстной, живой потребностью совершенства» («Луч печали», «Цискари», 1976 г., № 7). Луиза Бочкова точно определила этическое кредо поэзии Гиви Гегечкори и, что особенно примечательно, подчеркнула свое, личностное отношение к высоким идеалам поэта.

Нельзя не согласиться с Луизой Бочковой и в оценке творчества Арчила Сулакаури. Однако, видимо, объем ее статьи в журнале «Мнатоби» (1976 г., № 9 — «Поэзия подлинной жизни») предопределил несколько конспективный характер в принципе верных суждений о героях и коллизиях рассказов Сулакаури.

Так же примечателен был дебют в литературной критике Теймураза Донашвили («Цискари», 1976 г., № 9). В обширной статье, посвященной первой книге рассказов Тамаза Бибилури, молодой критик отметил именно те характеры, детали, интонации, которые в совокупности создают колорит прозы этого интересного и самобытного писателя.

Что касается так называемой «периферийной» критики, приходится признаться, что о новом поколении критиков тут и говорить нечего. Пожалуй, единственный действующий критик молодого поколения, который еще не обосновался в Тбилиси, — это Автандил Николойшвили. Он много и серьезно работает, и почти ни одно знаменательное явление грузинской литературы последних лет не прошло мимо его внимания. А. Николойшвили — автор статей, посвященных стихам Симона Чиковани и Мурмана Лебанидзе, Таризла Чантурия и Вахтанга Джавахадзе, первому роману Отара Чиладзе и рассказам Резо Чейшвили. Вот только создается впечатление, что он несколько обходит кутаисских литераторов. В этом смысле особенно отраднo появление в альманахе «Критика» (№ 1, 1977 г.) его обстоятельной рецензии на первую книгу стихов кутаисской поэтессы Додо Чумбуридзе. Нельзя с огорчением не отметить, что в том же номере альманаха помещена статья критика куда более зрелого возраста — Шалвы Чичуа «Вселенная во мне, или я во Вселенной, то есть предмет искусства», которая является попыткой реанимации уже отживших свой век проблем и искусственного противопоставления литературных поколений.

В последние годы часто печатается Реваз Чхартишвили. Как мне кажется, он упускает из виду, что главнейшим качеством, присущим критику, должна быть самокритичность. А потому весьма плачевно расплачивается (увы, не только он один!) за «шалости» своего пера. Если смысловые негочности и стилистические огрехи его ранних статей были еще терпимы, то в рецензии на роман известного грузинского прозаика Отна Иоселиани «Жила-была женщина» («Миатоби», 1976 г., № 7 — «Критические заметки о романе «Жила-была женщина») он, я бы сказал, превзошел самого себя. Вот как охарактеризован в этой статье один из главных героев романа Отна Иоселиани: «Гено Нижарадзе — земной человек, он живет жизнью обычного человека, и ему вовсе не чужда ворованная любовь. Интимная связь с Тебро также отнимает у него определенное время».

С наименьшей претензией на «образность» дан портрет жены Гено Нижарадзе. По словам молодого критика, обаятельная Мака Лежава «была в том возрасте, когда интеллект опережает чувственность и можно совершенно безболезненно сдерживать эмоциональные и физиологические страсти». Не думайте, что вы уже знакомы со всеми экскурсами критика в эту весьма рискованную сферу. Он весьма категорическим тоном делает следующее указание автору: «Хотя женщина с характером Маки Лежава в тот момент (речь идет о том эпизоде в романе О. Иоселиани, в котором Гено Лежава узнает об измене жены), действительно могла решиться на самоубийство, но ни в коем случае не подарила бы всю ночь причине своей гибели. Кроме этого, самоубийство часто — следствие аффекта, а в ее распоряжении была целая ночь. И эту ночь она провела именно с тем, кто ее довел до всего этого».

Как говорится — комментарии излишни!

Чувство некоторой неловкости возникает и при чтении рецензии Михаила Курдиани на монографию Нелли Думбадзе «Грузинский символизм» («Гантнади», 1976 г., № 6). Уже само заглавие «Лженаучный труд» с подзаголовком «Книга напечатана на хорошей бумаге, имеет твердый переплет и стоит один рубль» представляется несколько бестактным. К тому же этой действительно

слабой монографии, уже была посвящена обстоятельная рецензия Лали Авалиани и в альманахе «Критика», и в «Полемических заметках» Давида Тевзадзе (также опубликованных в «Критике»).

Вряд ли целесообразно посвящать три рецензии одной, нехудожественной монографии, в то время как десятки интересных и проблематичных книг не получают необходимого отклика.

Часто именно трудный жанр критики служит той лакмусовой бумажкой, которая показывает, в какой степени стало внутренней необходимостью для литератора уважение к неписаным законам профессиональной и даже просто человеческой этики.

На эту мысль также натолкнули рецензии на «Грузинский символизм». Конечно же, необходима хорошая монография о грузинском символизме, но еще более жаждем мы видеть в молодом критике сочетание критического пафоса и внутреннего рыцарства. Вот тогда-то пытливый, критический, но доброжелательный взгляд и во время подсказанное слово младшего коллеги облегчили бы не столь уж сладкую жизнь семьи грузинских критиков.

В нее пришло новое поколение. И естественно, что его становлению сопутствуют свои проблемы и заботы. Старшее поколение в свою очередь «передоверило» младшим часть своих нерешенных проблем, своих вчерашних забот. Сейчас наша общая обязанность — трезво осмыслить проблемы и трудности, стоящие перед молодым поколением литераторов. Ни сама критика, ни семья критиков не всеильны, но эта семья непременно должна вырастить достойное новое племя.

САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Недавно в издательстве «Мерани» вышла первая книга нашей юной землячки Карины Зурабовой. Открывает его рассказ «Только не плачьте», давший название всей книжке. Это, насколько мне известно, одно из первых прозаических произведений молодой писательницы — ей было всего 16 лет, когда она его написала. Рассказ первокурсницы Литературного института им. Горького понравился тогда и ее товарищам по учебе — а это критики строгие, и даже порой чересчур строгие, — и ее наставникам, среди которых есть известные советские писатели, и, что самое главное, — многочисленным читателям, поскольку рассказ был опубликован в журнале «Юность» (выходящем тиражом в 2 миллиона) и удостоен премии на конкурсе «Зеленого листа». Порадовались первому литературному успеху Карины Зурабовой и мы — ее землячки.

Тут могут сказать: журнальные публикации и книга в таком возрасте! А не рано ли? У прозаика все же должна быть биография, жизненный опыт... Ответить на подобные сомнения и легко, и трудно. Можно ответить предельно коротко: всегда рано, если кни-

га плохая, ну а если хорошая... Ответ вообще правильный, но не исчерпывающий. Я предпочитаю такой: да, конечно, биография прозаика нужна, и жизненный опыт ему необходим, и постигнуть те тайны писательского мастерства, которые пока еще не постигнуты, ему нужно. Все это так, и все это еще будет, дайте только срок, но при этом учитите, что есть еще жизнь души, а у нее свой отсчет времени и свои сроки вызревания и созревания. Одним словом, я убежден, что художнику прежде всего необходим опыт душевный, а его накопление идет путями очень сложными, и обычными мерками тут ничего измерить и определить невозможно.

Настоящее художественное произведение — это всегда объяснение в любви к людям. Вот это очевидно и неопровержимо. Много тысяч лет говорят люди друг другу слова любви, может, даже одинаковые, но все равно они каждый раз звучат как только что рожденные. И тем более так звучат они, когда их произносят действительно впервые, когда произносит их совсем юный человек — ведь что ни говори, а юность — та самая счастливая пора, когда любовь переполняет человека, когда она только расцветает.

Вот таким первым признанием в любви к людям, к жизни я и воспринял первую

книжку Карины Зурабовой. Сразу хочу сказать, что любовь эта не всяядная, не та всепрощающая любовь, которая на поверку всегда оказывается не любовью, а самым обычным равнодушием и к добру, и к злу, — любовь, которая водила пером нашего автора, когда он создавал эти рассказы, это любовь к тем, кто добр и творит, может, и не великие, но добрые дела, к тем, кто отвергает зло и ведет против него непримиримую войну.

Автор книги «Только не плачьте» представляется мне человеком, который, несмотря на свой юный возраст, смотрит на жизнь не сквозь розовые очки — «ах, как все прекрасно!..» — автор в первом же своем рассказе говорит о неудачах, и порою по-настоящему драматических неудачах, своих героев. И когда один из них, потерпев серьезное поражение, говорит своим, тоже потерпевшим поражение товарищам: «Только не плачьте», эти слова не дань «липовому» псевдолитературному бодрячеству, это глубокое убеждение в том, что человек и поплакать имеет право (слезы не всегда признак слабости, в том, что они только от слабости, нас хотят убедить лишь эти самые «липовые» бодрячки), а вот на капитуляцию перед трудностями жизни он никакого права не имеет. Никакого. Отступил хоть на шаг, и ты уже потерял часть своей души и, может быть, все самое главное в ней. А такие потери невосполнимы.

Не бодрячеством, а бодростью, не утешительством, а непоколебимой молодой верой в душевные силы человека дышат рассказы этого сборника.

И, что для меня очень важно, чувствуется все это не только в тех рассказах, в которых Карина Зурабова повествует о своих сверстниках, но и в тех ее рассказах, герои которых уже немолодые и даже очень немолодые люди (Бабушка в рассказе «Вечер», Ира и Долли Феликсовна в рассказе «Какое небо голубое» и другие пожилые и старые люди, населяющие эту книгу). Как уважительно, с каким тактом пишет о них Карина Зурабова.. Очень меня это тронуло, очень. Вообще-то такое отношение к старшим свойственно многим молодым работникам современной советской литературы. В последние годы читателей — и у нас, и за рубежом — буквально потрясли повести Валентина Распутина «Последний срок» и «Прощание с Матерой», в которых автор, сам еще молодой человек, с поразительной прозорливостью проникает в психологию своих героев — старух и стариков.

Рассказы совсем еще юной Карины Зурабовой, которые я назвал выше, — в русле этого правдивого, человеческого направления советской литературы. «Взрослые» герои написаны Кариной Зурабовой с любовью, с пониманием их больших и малых человеческих слабостей, с огорчением за их ошибки и неверные шаги, а в целом с уважением к тому, что они уже пережили и переживают.

Автор книги «Только не плачьте» обладает светлым и бесценным даром человечности — молодая писательница способна переживать, как свои личные, и чужую боль, и чужую радость.

От всей души желая Карине Зурабовой новых добрых

книг, я представляю себе пока еще не состоявшийся разговор с нею о ее первом рассказе: «Ваш герой сказал на прощание своим товарищам: только не плачьте. Допустим, они не станут плакать. Но это же, как Вы сами утверждаете, «не главное»... Так что же главное, Карина, что дальше? — спрашиваю я и слышу в ответ: «Как что? Любить людей и работать для людей. Вот что дальше». Замечательный ответ. И я его не придумал за Вас, дорогой автор, так ответила мне на мой вопрос вся Ваша первая книга. Так пусть же это будет Вашей программой на всю Вашу долгую, долгую жизнь, Карина Зурабова!

Любить людей и работать для людей!

Эммануил ФЕЙГИН

«ПОЕЗД ГРУЗИЯ— СИБИРЬ»

«Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать», — сказал кто-то. Сегодня я в дороге. Вижу перед собой не только величественные горы, рвущиеся к небесной сини, и не только чарующие ущелья среди отвесных скал, где падают, презваниваясь бубенца ми, речки, прозрачные, как слезы предков, но и слышу грузинское слово, молвленное поэтом:

Вздрыгнул — и мчится
электровоз,
и по купе, как рысь,
Все беспокойнее под стук колес

мечется наша мысль.
Электровоз рассекает ширь —
ярок фонарный глаз.
Грузия, ты позади! Сибирь —
здесь за окном сейчас...

Поезд «Грузия—Сибирь» ведет поэт Нодар Джалагония. Его я знаю не перзый день. Вместе учились на Высших литературных курсах при литинституте имени Горького. Читал его новую книгу стихов «Поезд Грузия—Сибирь», и меня не покидало ощущение, что я его представлял другим. Да, хорошим грузинским поэтом, для которого изящество, филигранность слова — норма. В первой книге Джалагония, готовившейся в печать еще в дни нашей учебы, есть такие строки:

Он среди других таких же
голосов
На пиру гремел, бывало,
дотемна,
Но порою тишина — ни тени
слов,
А прислушаешься, исповедь
одна.
И тогда сжигает душу
страшный яд,
Боль от ран, разверстых
разом —
Но не стон!
И как будто колокольная
каждый-каждый
взгляд.
И молчанье, как колокольный
звон.

Много стихов было написано о прошедшей войне, но в «Балладе о пропавшем голосе», из которой эти

строки, Джалагония нашел, мне кажется, свои слова, свое решение темы, свое поэтическое дыхание. Читая книгу «Земля для цветов», я думал о Нодаре Джалагонии, как о талантливом поэте. Но талант сам по себе — это еще очень мало. Талант сам по себе это лишь красивая лодка без рулевого, который знает, куда плыть, к кому плыть и что везти. Если поэт не вобрал в себя страсти и тревоги времени, если не видит, куда и ради чего ему петь и плыть, то такая песня — кому она нужна?

Читая новую книгу стихов, я вдруг почувствовал, что мой друг ведет не грузинское застолье: умное, шумное, не лодку, не коня кавказского, а самый наисовременнейший поезд Грузии — Сибирь. Джалагония открывает мне заново Сибирь. Сибирь... Целая планета. Необозримая ширь, многоцветье языков, культур, мифов и мифологий...

Знаю ли я Сибирь? Не скажу, да. Но как уроженец одного из его уголков, может быть, острее чувствую отдельные его проявления. А узнать Сибирь до конца — с ее безбрежной тайгой и тундрой, сливающейся с таким же безбрежным Ледовитым океаном, с нетронутыми еще сокровищами, — трудно. Только мы воображаем, что сумели уловить ее черты, как она оборачивается новым своим обликом, новой неизведанной пранью...

Грузия, ты позади! Сибирь —
здесь — за окном сейчас.
Воспоминаний не

отпугнуть... —

Нодар Джалагония ведет свой поезд сначала «медленно, сквозь года», где «тянется длинный кандаловый путь» и Сибирь ему кажется скованным Прометеем, сердце которого «морозы грызут», но «помня былой тот плач», он еще зримей, ощутимей начинает видеть, рисовать «новых легенд страну», восклицая:

Времени книга раскрыта
Здесь, как строка

к строке —

Стройки, заводы, плотины, ГЭС
И города в тайге!

Имя Радищева на стене
Я прочитаю тут.

И «Евдошвили» подарком

мне:

Улицу так назовут.
Я обнимаю — моей судьбе
Ставшую близкой ширь.
Я объясняюсь в любви тебе,
Сказка земли — Сибирь!..

После солнечной Грузии увидеть «сказку земли — Сибирь» — не слишком ли это? Не простая ли декларация? Или действительно поэт увидел новую ширь, которая заставила по-новому биться сердце и пульс его поэтического слова? Ведь задача поэзии — раздвинуть кругозор. И когда удастся взглянуть на вещи шире, то все предстает укрупненным, наполненным зримыми чертами главного. И здесь я начинаю чувствовать, что стихи для Нодара Джалагонии не только литература — это его образ жизни. Он приехал на БАМ с молодыми грузинскими строителями, с которыми начал работать бок о бок, плечом к плечу. Он рядовой плотник, стихи для него — это про-

Мир торгашей: у молодых
и старых
Одна икона — рынок и лоток!
Но Грузия — не этот, ка
базарах
В тридорога сбываемый цветок!
Нет! Грузия — та песнь,
что деды пели,
Альпийские цветы ее полян,
Легенды Джвари, гений
Руставели
И труд ее рабочих и
и крестьян.

Когда душа поэта горит,
все вокруг преобразается.
Острия слов пронзают опухоль
прошлого, что осталось
живо в наши дни, но в то же
время он опирается на славу
его земли, добрые традиции,
которыми так богата Грузия,
которые были всегда признаком
высокой чести и славы.

В стихах Джалагония звучат
многие струны души современно
го человека, от рыдающих до
ликующих. В них тревожащая
обнаженная

совесть поэта, которая зовет
человека пристальнее загля-
нуть в себя, в свою душу.

Стихи из книги «Поэт
Грузия — Сибирь» переведены
на русский язык прекрасным
ленинградский поэт Влади-
мир Тороспыгин. Примеча-
тельно то, что они встретились
и подружились (опять
же!) на БАМе. Я сам не раз
слышал звучное, заворажи-
вающее грузинское слово
Нодара Джалагония. Нелегко,
наверное, вообще переводить
грузинскую поэзию, имеющую
очень высокие и древние поэ-
тические традиции, но знаю
одно, что очень добросовестный
к слову Владимир Тороспыгин
точно передал саму поэзию,
дух и сущность ее.

Хотелось бы надеяться,
что русский язык — великий
будесник мыслей и чаяний
народа — сделает поэзию
Нодара Джалагония досто-
инством читателей всей страны.

Юван ШЕСТАЛОВ

Георгий ГАБУНИЯ

ИЗ ЛЕТОПИСИ ПЕРЕПИСКИ С Л. ТОЛСТЫМ

Лев Толстой пробыл в Грузии всего 70 дней (с 1 ноября 1851 года по 10 января 1852 года), но навсегда сохранил память об этом крае, о его народе. Живой интерес Льва Николаевича к этой «стране любви» никогда не угасал в нем. Ведя впоследствии в течение многих лет переписку с грузинскими читателями, великий писатель и большой друг нашего народа благодаря этому был в курсе всех событий, происходивших тогда на Кавказе.

Собственно, началась эта переписка в 80-е годы прошлого столетия, когда в Грузии появилась огромная армия почитателей литературного таланта Л. Н. Толстого. В летописи этой переписки есть и страницы, отображающие взаимоотношения Льва Николаевича с грузинской молодежью, проживавшей как в Грузии, так и обучавшейся в разных высших учебных заведениях России. Молодые грузины с большим уважением и почтением относились к Л. Н. Толстому и в особо трудные минуты, на перепутье жизненных дорог, часто обращались за советами именно к нему.

В 1886 году группа тифлисских девушек, только что окончивших гимназию, отправила великому писателю письмо, прося совета: к какому из общественно полезных дел приложить свои силы. Хотя письмо это было анонимное, обратный адрес оно все же содержало: «Тифлис, библиотека Де-Каприлевич, в галерее Ариурни. Для передачи А. А.».

И вот 17 декабря 1886 года Лев Николаевич послал девушкам по этому адресу ответное письмо, текст которого был опубликован 12(24) марта 1887 года на первой странице тифлисской газеты «Новое обозрение» с такой пометкой: «На сделанный отсюда недавно графу Льву Николаевичу Толстому запрос нескольких молодых девушек — какое он бы мог рекомендовать им дело, знаменитый писатель ответил следующим письмом».

21 марта в официальной русской прессе («Новое время») оно появилось под заглавием «Письмо к тифлисским барышням».

В начале своего письма Лев Толстой, давая тифлисским девушкам наставления общего характера, писал: «Вы спрашиваете дела. Кроме общего всем нам дела — стараться уменьшать те тру-

ды, которые употребляются другими на поддержание нашей жизни, сокращая свои потребности и делая своими руками, что можешь сделать для себя и для других, — у приобретающих знания есть еще дело: поделиться этими знаниями, вернуть их назад тому народу, который воспитал нас. И вот такое дело есть у меня».

Затем Лев Николаевич конкретно указывал, что в Москве существуют издатели народных книг, азбуки, арифметики, истории, календарей, рисунков, рассказов и советовал девушкам взять одно из таких изданий, внимательно прочесть, внести поправки или вообще переделать его. В конце письма молодым читательницам давались еще более конкретные указания: «Итак, если работа эта вам нравится, выбирайте тот род, в котором вам кажется, что вы можете лучше работать, и напишите мне. Я вышлю вам несколько книг. Очень желал бы, чтобы вы согласились на мое предложение...

Работа, несомненно, полезная. Степень пользы будет зависеть от той любви, которую вы положите в нее.

Ваш Лев Толстой».

Это письмо вызвало большой переполох в прессе. Некоторым оно нравилось, другие выступали против, считая его содержание «вредным» и «оскорбительным для русской литературы». Но так или иначе, после этого выступления Л. Толстого большое число молодых людей из России и Грузии обратилось к нему с просьбой прислать книги для исправления. Как известно, среди этих молодых просителей была и юная Н. К. Крупская.

Грузинская молодежь не только обращалась за советом к любимому писателю, но верила его слову. Вот почему царское самодержавие старалось всеми силами «защитить» массы, в особенности молодое поколение, от «пагубного влияния идей» этого графа. Располагаемый нами архивный материал, в частности, разосланный директорам учебных заведений циркуляр попечителя Кавказского учебного округа о распространении среди учащихся листовок, проповедующих подрывные идеи основных форм христианской веры, которые приписывались Л. Н. Толстому, как раз об этом и свидетельствует. Вот текст с некоторыми сокращениями этого циркуляра, датированного 29 января 1887 года: «Министерству народного просвещения из достоверных источников стало известно, что в среде учащихся в высших и средних учебных заведениях обращаются и распространяются в гектографированных листах записки, приписываемые графу Л. Толстому, в которых различным способом внушаются идеи, подрывающие в корне основные догматы христианской веры.. а также заключается призыв к всеобщему перевороту, направленному к разрушению основ существующего государственного строя и общественного порядка. Г. Министр народного просвещения, сознавая весь вред, могущий возникнуть от чтения подобных изданий в умах молодежи, секретным предложением от 4 сего января за № 2, просит меня поставить начальству средних учебных заведений округа в обязанность бдительно следить за тем, чтобы такие издания не обращались в среде учащихся, причем, если бы таковые были найдены, то они должны быть отбираемы и уничтожаемы...»¹.

¹ ЦГИА Гр. ССР, ф. 436, оп. I, д. 491, л. 7; ф. 422, оп. I, д. 3014, л. 2.

Особенно многочисленные почитатели были у Льва Толстого среди грузинских студентов, обучавшихся в московских и петербургских высших учебных заведениях. Большое количество отосланных писателю (из которых многие ныне хранятся в Государственном музее Л. Н. Толстого), в основном принадлежало именно этой молодежи.

Ряд грузинских студентов Московского университета лично знал Льва Николаевича и имел счастье неоднократно встречаться и беседовать с ним. Л. Толстой познакомился с грузинскими студентами И. Гомартели, А. Диасамидзе, В. Гамбашидзе, К. Элиозишвили и другими в семье своего близкого друга А. Н. Дунаева, сын которого дружил с ними. В 1895 — 1897 гг., будучи заинтересованными движением «духоборов», Л. Н. Толстой и А. Н. Дунаев часто расспрашивали о них грузинских студентов.

Кроме того, как видно из воспоминаний А. Диасамидзе, Нино и Ильи Накашидзе, Лев Николаевич беседовал с молодыми людьми о Грузии, ее исторических памятниках, о вопросах культуры, литературы, о творчестве Шота Руставели и т. д.

Между Л. Толстым и грузинскими студентами сложились дружеские отношения. Так, например, одному из них — А. Квациашвили он передал полное собрание своих сочинений с собственноручной надписью.

В феврале 1890 года группа тифлисской молодежи направила Льву Николаевичу коллективное письмо, прося устроить для нуждающихся читателей дешевое издание его произведений.

В конце XIX столетия всю прогрессивную общественность Грузии взволновала весть о болезни Льва Толстого. В ноябре—декабре 1899 года в грузинской периодической прессе систематически помещались сведения о состоянии его здоровья. В начале 900-х годов здоровье и самочувствие писателя стало улучшаться, и эту весть, напечатанную в газете «Новое обозрение», запрещенной цензурой, с большим восторгом встретили поклонники его литературного таланта.

20 августа 1901 года из Тифлиса в Ясную Поляну на имя Л. Н. Толстого была направлена телеграмма следующего содержания: «Беспредельной радостью преисполнились наши сердца, дорогой Лев Николаевич, услышав весть о вашем выздоровлении. Живите долгие годы на пользу человечества, неутомимо борясь за идеал высшей добродетели. С далекого Кавказа приветствуют вас обитатели Тифлиса и числом тысяча человек выражают вам чувство глубокой признательности за ваше стойкое, искреннее служение истине и справедливости. Подписи письмом»¹.

Среди подписавших эту телеграмму была и тифлисская учащаяся молодежь, и молодые рабочие. В конце 1901 года грузинская молодежь вновь отослала Льву Николаевичу письмо, которое заканчивалось так: «Грузия протягивает руку своим старшим братьям, великим народам, изъявляет желание работать вместе с ними на общее благо»².

¹ ЦГИА Гр. ССР, ф. 480, оп. I, д. 1686, л. 105.

² Баканидзе Л. Лев Толстой в Грузии. Тб., 1960, с. 22 (на груз. яз.).

Заслуживает внимания переписка студента петербургского университета Бориса Гегидзе с Л. Толстым, которому 8 сентября 1902 года он писал из столицы Грузии в Ясную Поляну: «Еще не было ни одного писателя в мире, для меня лично, который имел бы такое влияние на выработку моего мирозерцания, который столько бы меня научил, столько бы объяснил в вопросах жизни, как Вы»¹.

В 1903 году Б. Гегидзе направил писателю второе письмо и свою книгу «В университете» (СПБ, 1903) с просьбой отозваться на нее.

Вскоре Л. Толстой прислал ему следующее письмо: «Читал университетские очерки Гегидзе. Бедный искренний юноша видит нелепость университетской науки и всей культуры и ужас того разврата, которому он подпадает. В одном месте, говоря о том, что делать, какую поставить себе цель в жизни, он, вперед решая, что такую целью, конечно, не может быть самосовершенствование, перебирает все другие цели, и все они не удовлетворяют его...»².

Затем Лев Николаевич рассматривал в письме мнение Б. Гегидзе о назначении человека и в ряде случаев не соглашался с ним. Несмотря на это, Б. Гегидзе с большим уважением относился к любимому писателю, считал его своим учителем и не прерывал с ним связь. В 1904 году он гостил у Л. Толстого в Ясной Поляне и имел с великим творцом интересную беседу³.

В 1909 году землячество тифлиссских студентов при Московском университете организовало кружок по изучению Кавказа и решило выпустить «Кавказский альманах». С этой целью правление кружка обратилось к писателю с просьбой помочь им: «Глубокоуважаемый Лев Николаевич! — писали грузинские студенты. — Идя навстречу потребностям, назревшим среди широких слоев кавказской учащейся молодежи в изучении Кавказа в географическом и культурных отношениях, равно как и в целях широкого ознакомления русского общества с действительным положением и значением этой окраины, тифлиское студенческое землячество при Московском университете взяло на себя инициативу организации студенческого кружка кавказоведения. Но для того, чтобы «кружок» с самого же начала мог широко и серьезно поставить дело изучения, необходимы средства. Поэтому землячество предприняло издание «Кавказского альманаха», в котором в ряде научно-популярных и литературных очерков должен быть представлен Кавказ с его природой и населением, историей и культурой в наиболее интересных, типичных чертах и моментах. Как показывает намеченная здесь в общих чертах программа «Кавказского альманаха», издание его послужит первой попыткой на пути осуществления второй из намеченных целей — ознакомлению русского общества с Кавказом. Зная Вашу отзывчивость на просветительные нужды страны, Правление тифлиссского землячества Вас просит оказать ему содействие в издании «Альманаха», прислав какую-нибудь

¹ Талпашвили Г. Лев Толстой и Грузия, с. 70—71.

² Толстой Л. Н., т. 54, с. 195—196.

³ Там же, т. 55, с. 42.

статью соответствующего характера. О Вашем отношении к прос-
бе просим известить...»¹.

Лев Толстой сообщил правлению землячества, что, к сожа-
лению, за неимением времени, несмотря на большое желание, не смо-
жет помочь им в деле издания альманаха.

Когда же стало известно о кончине Л. Н. Толстого, грузин-
ские студенты, жившие в Москве, Петербурге, Харькове и других
университетских центрах России, приняли активное участие в тра-
урных митингах, демонстрациях, послали свои делегации на похо-
роны любимого писателя.

В эти дни министерство внутренних дел срочно отослало цир-
куляр царскому наместнику на Кавказе со следующим приказом:
«В связи с кончиной Льва Толстого, 7 ноября, просим заранее
принять меры и не допускать никаких демонстраций на улицах, и
вообще выступления против правительства и духовенства, обра-
тить особое внимание на учащуюся молодежь и рабочие массы, на
то, чтобы не устраивались гражданские панихиды, совещания, сбо-
рища в честь кончины писателя...».

14(27) ноября 1910 года, в воскресенье, в Тифлисском народ-
ном доме был назначен «утренник Толстого», на котором для ме-
стных учителей намечалось чтение лекций о жизни и деятельности
Льва Николаевича Толстого на грузинском, русском и армянском
языках. Предвидя характер этих лекций в период разгара реакции
по всей стране, а также настроение грузинской молодежи и ее
симпатии к великому писателю, городское самоуправление запрети-
ло учащимся посещение этого утренника. В результате это «ме-
роприятие» проводилось почти в пустых залах².

Известная грузинская писательница Нино Накашидзе, в тече-
ние пяти лет (1898 — 1903) жившая со своим мужем Ильей На-
кашидзе в Москве, как известно, была в близких, дружеских отно-
шениях с Львом Николаевичем. В своих воспоминаниях она пи-
шет: «И я как будто и сейчас наяву вижу великого старца, стоя-
щего на верхней лестничной клетке в Ясной Поляне, великого Льва
Николаевича Толстого, который последний раз прощался с нами и,
махая рукой, смеясь, говорил: «До свидания, непременно приеду
в вашу солнечную Грузию и повидаяюсь с вами»³.

И хотя Грузии уже не довелось вторично оказать гостеприим-
ство желанному гостю, встретить его с той любовью и теплотой,
которые он сеял своими произведениями, грузинская молодежь, весь
грузинский народ и по сей день вновь и вновь обращаются к его
бессмертным творениям...

¹ Галнашвили Г. Лев Толстой и Грузия, с. 68—69.

² «Новая речь», 16 ноября 1910 г.

³ Накашидзе Нино. Визит Льва Толстого (Воспоминания),
Тб., 1954, с. 125 (на груз. яз.).

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1978 год Грузинская Советская Социалистическая Республика шестой раз подряд удостоена переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

11 марта на собрании партийно-хозяйственного актива республики состоялась торжественная церемония вручения знамени руководителям и представителям трудящихся Грузии.

В своем докладе на этом собрании кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии тов. Э. А. Шеварднадзе отметил значительные успехи, достигнутые нашей республикой во многих областях народного хозяйства, и особо подчеркнул: «На современном этапе нашего экономического и социального развития, когда столь внушительными становятся такие объективные факторы дальнейшего подъема народного хозяйства, как создание прочной материально-технической базы, наличие соответствующих кадров специалистов, занятых в различных областях управления, и т. д. все большее значение приобретают факторы субъективные, лежащие в сфере общественной деятельности человека.

Многое становится теперь в зависимость от отношения человека к делу, к своим обязанностям, от его стремления и внутренней потребности сделать все как можно лучше, как можно полнее выжив свои способности, приведя в действие все свои творческие возможности, свои личные внутренние резервы».

Возможно, директор Батумского нефтеперерабатывающего завода, внесшего свою скромную лепту в эту трудовую победу нашей республики, о котором рассказывает в своем очерке Л. Егоров, и принадлежит к тому славному отряду руководителей нового типа, в деятельности которых видятся «...огромные резервы нашего экономического развития и одновременно — выявления человеческих возможностей, а они, эти возможности, как известно, неисчерпаемы» (Э. А. Шеварднадзе).

Луарсаб ЕГОРОВ

ДИРЕКТОР

Каждый трудовой коллектив имеет свое лицо. На Батумском нефтеперерабатывающем мне приходилось бывать и раньше. Как говорится, все познается в сравнении. Наверное, поэтому поистине разительные пере-

мены, происшедшие здесь, бросаются в глаза, заявляя о себе на каждом шагу.

Честно говоря, у меня было такое ощущение, что я попал вроде бы в знакомый дом, но после его реконструкции, проведенной новым

хозяйником со вкусом и изысканностью. Дом, дышащий свежестью, чистотой и порядком. Территория завода сегодня — это огромный, нарядный парк с цветниками, заасфальтированными дорогами, по которым еще несколько лет назад можно было пробраться только на «газике» — грязь и слякоть были по колено.

Но завод, да еще нефтеперерабатывающий — это не только цветники, это не только эстетика и подсобное хозяйство. Это в первую очередь производство. Сложное и многогранное. Бензин, мазут, битум, дизельное топливо — вот далеко не полный перечень выпускаемой здесь продукции. И то, что в прошлом году около 60 процентов ее выпускалось со Знаком качества, — говорит о многом. А ведь еще совсем недавно, в 1975 году, удельный вес продукции, отмеченной почетным пятиугольником, составлял всего около 2 процентов. В 1976 году со Знаком качества было выпущено 26 процентов. В 1977 году — около 47 и, наконец, в 1978 году — около 60 процентов продукции. Но и это еще не все. Впервые за много лет завод стал выполнять план по всей запланированной для предприятия номенклатуре изделий.

За последние два года в результате многогранной организаторской и политической работы, направленной на повышение эффективности и качества, спроектированной экономии удалось добиться того, что предприятие, считавшееся одним из наиболее отстающих в отрасли в мас-

штабах страны по сверхнормативным потерям нефти, преодолело это отставание и вышло в ряды передовых.

— За счет чего это достигнуто? — спросил я директора.

— За счет повышения исполнительской и плановой дисциплины, — лаконично ответил он.

Я понимаю, что читателю, быть может, все это покажется несколько скучноватым. Но ведь экономика, выражаясь словами В. И. Ленина, самая интересная политика.

Вернемся к проблеме качества — решающей, ключевой проблеме пятилетки. На заводе создана и успешно функционирует координационная группа, которая следит за разработкой и внедрением комплексной системы управления качеством. Действует система бездефектного изготовления продукции, предусматривающая оценку работы коллектива каждой установки не только по количеству, но и по качеству. Ее девиз — больше и лучше. Причем, для каждой установки разработаны оптимальные коэффициенты бездефектности, которые базируются на безусловном соблюдении государственных стандартов. Наконец, очень эффективно используются рычаги морального и материального стимулирования.

В авангарде борьбы за эффективность и качество идут коммунисты. Партийная организация — инициатор и застрельщик всего нового, прогрессивного. Но подлинной душой всех начинаний является директор за-

вода коммунист Элгуджа Васильевич Гвенцадзе.

Директора нефтеперерабатывающего я знаю давно. Еще в начале шестидесятых годов нам доводилось довольно часто встречаться в Рустави, где мы тогда работали. Скромный, собранный человек, он тогда работал в лаборатории на металлургическом заводе.

И невольно подумалось: как он вырос за эти годы. И стало радостно за человека, за то, что смог он пройти за сравнительно короткий срок путь, на который иному не хватит и двух жизней.

Как он начинал? Был рабочим на металлургическом, закончил без отрыва от производства Грузинский политехнический институт, стал мастером, потом руководителем лаборатории. Рос как специалист, рос как руководитель. Стал подлинным командиром производства, не растеряв добрых человеческих качеств — распахнутости сердца, доброты, душевной теплоты. Сейчас это зрелый вояка трудового коллектива, компетентный, требовательный к себе и другим, чутко и заботливо подходящий к решению сложнейших проблем не только комплексно, но и масштабно, мыслящий современными категориями, категориями, порожденными требованиями сегодняшнего дня, научно-техническим прогрессом.

Но ведь такого человека надо было найти, ему надо было подыскать дело, где бы он смог не только развернуться, но и показать себя во всем блеске своего организаторского дара. И когда

мы говорим, что процесс оздоровления морально-психологического климата в республике, начатый в рамках Циклианиве Центрального Комитета Компартии Грузии, стал проявлять себя в главном — в подборе, расстановке и воспитании кадров, то это не просто фраза, а партийный подход к проблеме, за которым скрывается огромная организаторская работа Центрального Комитета Компартии Грузии, его бюро.

Работа с людьми, кадровая политика — дело тонкое. Она не терпит шаблона и штампа. То, что хорошо в одном случае, — может быть совершенно неприемлемым в другом.

С чего начал новый директор? С того, что стал наводить порядок на каждом рабочем месте. И когда через месяц после его прихода стали ремонтировать рабочий кабинет директора, то некоторые не в меру ретивые головы тут же разразились анонимками в соответствующие инстанции. Дескать, начал свою деятельность с ремонта собственного кабинета. Но директора это не смутило. Он отремонтировал не только свой кабинет, но и привел в порядок служебные помещения других работников заводского управления, заасфальтировал подъездные пути, ведущие не только к заводу, но и те, что на территории предприятия, разобрался, как распределялся до него жилой фонд, и пришел в ужас — не было никакой очередности. Навел и здесь порядок. Так он и шел шаг за шагом.

Последовательно, продуманно, целеустремленно...

Падали листки календаря. Каждый новый день приносил и радость удач, и горечь неприятностей. Люди не всегда принимали требования нового руководителя. Кто-то из них привык к тихой, размеренной жизни, и ветер перемен, ломавший лед привычной инерции, не только раздражал, но и вызывал подспудное сопротивление.

К чести Гвенцадзе надо сказать, что он не только прекрасно сознавал психологическую неподготовленность как отдельных людей, так и коллектива в целом к новым формам и методам управления и хозяйствования, которые диктовались жизнью. Но и чувствовал боязнь некоторых менять привычный ритм, устоявшиеся стереотипные привычки.

Он понимал, что это всегда трудно. Но он не спасовал перед трудностями, он преодолевал их, иногда ценою каких-то потерь, но с убежденностью человека, со знающего, что это, в конечном счете, пойдет на пользу делу.

Разумеется, были и у него просчеты, и это неизбежно при ломке старого, когда приходится словно лемехом перезорачивать многослойный пласт, доставшийся в наследство.

Не обошлось и без издержек производства, но они, эти издержки, были оправданы. Как и разумный риск, на который сознательно пошел директор, четко определив цель.

Но ориентиры были намечены правильно, и задача со-

стояла в том, чтобы, используя в качестве рычага патристическую инициативу ставских металлургов, ввести дисциплину труда, поднять ответственность каждого за порученное дело и на этой основе добиться повышения эффективности работы, роста производительности труда и улучшения качественных показателей.

Гвенцадзе прекрасно понимал, что решение ключевых проблем пятилетки находится в прямой зависимости от того, в каких условиях работают люди. Поэтому, в качестве первоочередной была поставлена задача максимально, где только возможно, улучшить условия труда, больше проявлять заботы о быте и досуге тружеников.

И появились на заводе душевые и бытовки, и была отремонтирована внутризаводская столовая и оснащена всем необходимым, чтобы люди не тратили времени зря, и начали создавать подробное хозяйство, и есть уже свиноферма, где животных кормят отходами, остающимися в столовой, и стали рабочие скашивать траву на территории предприятия и заготовили уже столько сена, что его вдоволь хватит телятам, а их здесь 20.

А ведь если вдуматься в нравственно-социальный аспект этого начинания, если взглянуть на него с точки зрения человеческой психологии, то работа в подсобном хозяйстве, на которую труженики предприятия охотно и совершенно добровольно соглашались, ведь она, кроме всего прочего,

кроме того, что в рабочей столовой получило постоянную прописку свежее мясо, кроме того, что в ней постоянно есть свежие овощи и зелень, т. е. кроме чисто потребительской функции, несет на себе и другую нагрузку — позволяет рационально использовать досуг людей, воспитывает их красотой трудового соперничества.

Вот это, на мой взгляд, самое ценное, самое главное, что позволяет цементировать людей, воспитывает коллективистский дух, дух взаимоподдержки, товарищества, уважения не только к своему труду, но и к труду других. И воспитательная функция такого труда, пожалуй, выше той, которую несет на себе работа, связанная с исполнением служебных обязанностей.

И еще. Люди видят, что директор не только умело организует дело, но и сам не чурается черной работы. На его руках нет белых перчаток. У него мозолистые руки крестьянина, открытое лицо рабочего, гибкий ум интеллигента. Может быть, именно в этой силе личного примера — залог успеха руководителя нового типа, каким без всякого сомнения и является Элгуджа Гвенцадзе.

Журналистская судьба не первый раз дарит мне счастье встречаться с такими людьми, познавать тайны

их, я не побоюсь этого слова, «полководческого таланта». Людей, которые по - государственному по - партийному, которые направлены на то, чтобы окружающая их жизнь стала лучше и красивее, в нашей республике немало.

Отрадно, что в последние годы их ряды пополнились представителями молодого поколения, стремящегося не только идти дорогой отцов, но и быть верными их духу и традициям, быть образцами коммунистической нравственности и чистоты.

Он коммунист. А это значит, что человек везде и во всем должен быть принципиальным, требовательным в первую очередь к себе, это значит, что он всегда и во всем должен быть примерным, должен быть образцом, своеобразным эталоном, по которому будут строить жизнь другие.

Ведь единственная привилегия коммуниста — быть на переднем крае, больше думать не о себе, а о людях, жить их помыслами и надеждами, отдавать всего себя делу, которое доверила тебе партия. Элгуджа Гвенцадзе — такой человек. И в мыслях, и в буднях, и в мечтах. Облик его и дела — зримое воплощение духа времени, исполненного великих свершений, начертанных решениями XXV партийного съезда.



Нана КАВТАРАДЗЕ

ИГРАЕТ ВАЖА ЧАЧАВА

«Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, невольно хочется сказать: это не я пою, а мы поем».

Ш а л я п и н.

Размышляя о творческой судьбе Важа Чачава, невольно задумываешься, а смог бы этот пианист, ныне заслуженный артист республики, внести столь же значительный вклад в нашу музыкальную жизнь, если бы избрал традиционный путь пианиста-солиста?

На этот вопрос можно ответить только положительно, ибо любая сфера исполнительского искусства требует яркого таланта, полной отдачи, любви, целенаправленности, дерзания, что в полной мере характеризует Важа Чачава. Но за всем этим еще стоит его поэтическая, подлинно творческая, деятельная и весьма своеобразная натура, во многом определившая его творческое лицо, творческий путь.

Когда знакомишься с личностью Важа Чачава, первое, что покоряет вас в нем, это «моцартовские истоки» его чистой, благородной, тонкой и, я бы сказала, хрупкой души. Этическая сила музыки словно изолировала его от всех жизненных коллизий. Но вот следишь за его работой и поражаешься, как он стоек, одержим, принципиален, как подчиняются его воле все окружающие партнеры. До чего же выразительна дарственная надпись на фотографии, сделанная народным артистом ГССР Резо Какабадзе: «Важа Чачава — моему профессору, тирану и узурпатору».

К концертной жизни В. Чачава приобщился с детства. Будучи учеником Центральной музыкальной школы им. З. Палиашвили, он уже становится автором нескольких сольных концертов. С этих пор начинается формирование и развитие его артистической натуры. Все более очевидным становится большое будущее юного музыканта. Первой поверила в его яркий талант и «открыла» своеобразие его творческой натуры его педагог профессор В. Н. Шиукашвили.

«Важа, — говорит проф. В. Шиукашвили, — это прежде всего человек больших способностей и таланта, о чем сви-

детельствуют многочисленные проявления его неуемной бурной натуры. Когда Важа покидал среднюю школу, многие педагоги сильно переживали за будущее одаренного юноши. Дело в том, что преподаватели физики думали, что из него получится талантливый физик, историки уже видели его историком. В то же самое время Важа — это очень своеобразная сложная натура, он противник обыденности, и это обстоятельство влияло на наши занятия, они проходили неровно. Были периоды, когда, он самозабвенно играл по десять часов в день. Но я помню и то, как он буквально убегал от инструмента, переставал систематически заниматься, и, по-видимому, именно отсутствие твердой дисциплины помешало одаренному юноше, обладателю незаурядного таланта, занять достойное место рядом с другими пружинскими лауреатами международных конкурсов. Но сегодня, впрочем об этом не приходится сожалеть, так как Важа Чачава сумел, правда, несколько иным путем, достигнуть этого высшего эталона исполнительского мастерства.

Важа Чачава по призванию артист, он очень любит сцену; на эстраде он особенно искренен и открыт, причем несомненно обладает артистической привлекательностью и обаянием большой силы. Смотришь на его сверстников и видишь, как они волнуются при выходе на сцену, что же касается Важа, то я не знаю, умеет ли он вообще волноваться, настолько естественной стихией является для него эстрада.

Сегодня Важа Чачава ведет в консерватории большую, полезную работу. Он работает педагогом по линии камерного пения и концертмейстерского мастерства. Кроме того, оказывает поистине неоценимую творческую помощь многим выдающимся певцам оперного театра, являясь их блестящим партнером. Но талант Важа настолько широк, многообразен и могуч, что я считаю это поприще в какой-то мере сковывающим, ограничивающим его подлинные возможности. Талант, большая эрудиция и высокий профессионализм зовут его к более широким горизонтам и масштабам. Важа свободно может руководить коллективным художественным процессом, что, к примеру, может осуществиться на поприще оперной режиссуры. Он ведь блестяще сочетает в себе возможности талантливого профессионального мастера инструментального сопровождения, вокала и сценической пластики. Я с радостью пожелаю бы ему именно такого будущего».

Ко времени окончания Центральной музыкальной десятилетки Важа Чачава настолько уже известен в музыкальном мире, что профессор Г. Нейгауз согласен принять его в свой класс в случае, если он будет принят в Московскую консерваторию: «Он очень талантливый, и я считаю, что Московская консерватория должна его непременно принять».

А вот что писал о нем своему сыну этот великий музыкант нашего времени, прославленный пианист и педагог: «Мальчик очень талантлив, интересный и «сочиняет» тоже».

Это было яркое подтверждение таланта и творческой перспективности Важа Чачава. Юноша был в восторге, большего

счастья он не желал. Но встретиться с великим музыкантом ему не пришлось.

Важа Чачава неожиданно отходит от музыки и поступает в Театральный институт им. Ш. Руставели.

Важа с детства любил театр, был ярким его поклонником. И в нем внезапно с новой силой вспыхнул интерес к театру, который на время стал целью его жизни. Он блестяще сдает вступительные экзамены и одним из первых зачисляется в Театральный институт. Режиссер Додо Алексидзе, который был тогда председателем приемной комиссии, по сей день помнит «нашествие» музыкантов в связи с поступлением Важа в театральный институт. Они боялись, как бы «болезненное» увлечение сценой не погубило молодого музыканта, и просили приложить все старания, чтобы юноша «очнулся» от своего заблуждения. Но режиссер на это возражал: «У него большой, настоящий талант»...

Важа Чачава — студент Театрального института, в котором он провел почти три года, и это в то время, когда он уже исполнял с симфоническим оркестром фортепианные концерты Бетховена и Листа, когда в его концертном репертуаре звучали Моцарт, Рахманинов, Брамс, Скрябин, Шуман, Чайковский.

В Театральном институте В. Чачава работал с разными режиссерами: Иоселиани, Тавзарашвили, Туманишвили; художественную речь преподавала М. Мревлишвили.

В Театральном институте и сейчас помнят исполненные Важа сценические образы, помнят его и как вокалиста, он произвел огромное впечатление исполнением романса Чайковского «Серенады Дон Жуана». В то время в институте была хорошая традиция — драматические актеры устраивали вокальные концерты. Помнят также увлечение Важа Николозом Бараташвили, его своеобразное «музыкальное» чтение стихов великого грузинского поэта.

Но любовь к музыке все же взяла верх и вернула Важа в консерваторию, которую он окончил за четыре года. Вскоре после этого он начал работать в оперном театре концертмейстером. Вот куда привела Важа Чачава большая любовь к музыке и сцене. Именно здесь слились воедино эти два увлечения. Сегодня уже стало очевидным, что проведенные в Театральном институте годы, овладение сценическим искусством не прошли для него безрезультатно.

В оперном театре Важа Чачава как концертмейстер, с одной стороны, продолжил хорошую традицию старшего поколения концертмейстеров (Т. Дуненко, И. Салакая и Я. Гордон) и, с другой стороны, внес в творческую жизнь солистов театра новый стимул, который столь необходим для профессионального совершенствования певца. В этом отношении многие солисты оперы обязаны именно Важа Чачава, содействовавшему раскрытию и расцвету их творческих возможностей.

Если раньше мы с сожалением отмечали пассивность и равнодушие солистов оперы к камерным концертам, то теперь Важа Чачава оживил эту сферу нашей музыкальной жизни, и

именно его активности в значительной мере следует приписать систематическое проведение камерно-вокальных концертов. С именем Важа Чачава связаны новые страницы в творческих биографиях Тенгиза Мушкудиани, Ираклия Шушанидзе, Мухомеда Амيرانашвили, Ревазы Какабадзе, Ламары Чкония, Зураба Соткилава, Нателы Тугуши и многих других.

Важа Чачава обладает необыкновенной интуицией в выборе произведений, способствующих выявлению многообразных индивидуальных возможностей того или иного певца. Вопрос программы концерта он считает одним из непременных условий успеха, и здесь предстает перед нами не только как тонкий музыкант, обладающий удивительным чутьем, но и как музыкант-эрудит. Это обычно признают сами наши солисты. Мы же, слушатели, благодарны Важа Чачава за то, что по его инициативе в Грузии в исполнении грузинских певцов впервые прозвучали такие произведения, как вокальный цикл Малера «Песни странствующего подмастерья», циклы Мусоргского «Раёк» и «Без Солнца», песни Гуго Вольфа на слова Гейне, «Два гренадера» Вагнера, песни Р. Штрауса, романсы Шостаковича на стихи А. С. Пушкина, произведения Перголези, Генделя, Даргомыжского, Метнера, Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, Рахманинова, Чайковского, образцы грузинской классической и современной вокальной музыки.

Наряду с образным воплощением художественной мысли произведения В. Чачава мастерски помогает вокалисту проникнуть в индивидуальное своеобразие стиля композитора. Это порой жанровая зарисовка, порой драматическая сцена - монолог, а иногда новелла, которые раскрывают художественный образ в динамическом развитии. В таких случаях В. Чачава-концертмейстер предстает перед слушателями то как живописец, то как тонкий психолог.

Нетрудно подметить и режиссерское чутье Важа. Он старается вместе с вокалистом конкретно представить художественную мысль произведения и проникнуть в лабиринт его психологического мира. Немаловажную роль играет тембровое выражение интонации, которая проявляется тем больше, чем сложнее отношение композитора к поэтическому слову. В этом отношении вызвали большой интерес исполненные Важа Чачава вместе с его братом Тенгизом Чачава образцы вокальной лирики Шумана и вокальный цикл грузинского композитора Г. Члаидзе, а также проникновение в стиль Гуго Вольфа в ансамбле с Зурабом Соткилава.

Важа Чачава - концертмейстер, «незримый рулевой» своего партнера, он подобно дирижеру руководит раскрытием музыкальной фактуры, созданием художественного процесса. Причем все это делается незаметно для его партнера, ибо их ансамбль отличает свобода музицирования. В этом отношении Важа является желанным партнером для каждого вокалиста, и концертмейстерские ансамблевые вечера с его участием скорее походят на дуэт вокалиста и пианиста, нежели на сольно-вокальный номер с аккомпанементом в традиционном понимании. В этом аспекте привлекают внимание слова одного музы-

канта, сказанные по поводу камерного концерта Зураба Соткилава в Ленинграде в 1971 году: «В один вечер я прослушал два концерта — Соткилава и Важа Чачава».

В жизни оперного театра Важа Чачава разделил постановки не одного ответственного, этапного спектакля. Вместе со всей труппой театра он преодолевал трудности ряда партитур, несколько чуждых традициям нашего оперного театра: мы имеем в виду «Семена Котко» Прокофьева и «Дон Жуана» Моцарта.

Я помню тот ажиотаж в театре, который предшествовал постановке «Семена Котко» Прокофьева. Противники ее предрекали провал, учитывая совершенно чуждую традициям нашего театра оперную драматургию Прокофьева, ее непривычный интонационный мир, манеру пения, к чему совершенно не были подготовлены как солисты, так и оркестр. Постановку спектакля успешно осуществил главный режиссер Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Л. Михайлов. Созданная им подлинно творческая атмосфера пробудила и оживила несколько ослабленное биение пульса нашего оперного театра того периода, и результаты получились отличные.

Помню восторженные отзывы московского режиссера по поводу работы Важа Чачава, которого он называл своей «правой рукой». Пружинская пресса широко откликнулась на успех театра, и мы позволим себе привести строки из статьи, опубликованной в журнале «Сабота хеловнеба»: «Успешная работа солистов нашего театра над оперой «Семен Котко», преодоление одного из наиболее ответственных моментов являются в значительной мере заслугой Важа Чачава. Все участники «Котко» согласятся со мной в том, что Чачава вполне заслуживает разделения вместе с ними творческой победы, не только как концертмейстер, но и как прекрасный интерпретатор музыки Прокофьева».

Я никогда не забуду период работы в оперном театре, связанный с подготовкой к постановке оперы «Дон Жуан» Моцарта, встреча с которым происходила впервые в жизни нашего оперного театра. Вполне понятно, какие огромные трудности встали перед всей труппой, перед приглашенным из Ленинграда режиссером Е. Пасынковым, дирижером Д. Кахидзе и концертмейстерами Важа Чачава и Я. Гордоном. Газета «Коммунисти» писала о Важа Чачава, что он разделил общий успех спектакля, и отмечала при этом: «Не меньшую работу проделал дирижер вместе с тонким музыкантом, концертмейстером Важа Чачава при решении сложнейших задач моцартовского ансамбля».

Вспоминаю репетицию одной сцены из оперы, которая проходила в рабочей комнате Важа Чачава. Роли в этой сцене исполняли Натела Тугуши и Реваз Какабадзе. Важа Чачава фиксировал внимание певцов на пибких, тонких нюансах, исходящих из внутренней природы музыкальных речитативов этой сцены, которые своей выразительностью сами подсказывали естественные мизансцены. Репетиция проходила с увлечением, интересно, динамично и эмоционально. Все это вме-

сте взятое в отличном фортепианном сопровождении оживляло певцов, зажигало их.

Сегодня Важа Чачава как музыкант приобрел большое число друзей и поклонников не только у себя на родине, но и за ее пределами.

В 1970 году Зураб Соткилава и Важа Чачава имели большой успех в Испании, в Барселоне на VIII Международном конкурсе вокалистов имени Виньеса. Первую премию и высшую награду лауреата на этом конкурсе Зураб Соткилава разделил с московской певицей Е. Образцовой. И на этот раз соучастником этого большого успеха стал Важа Чачава.

Важа Чачава также разделил радость победы в Монреале на IX Международном конкурсе вокалистов. Здесь он был партнером талантливой грузинской певицы, солистки Московского Большого театра Маквалы Касрашвили, которая на этом конкурсе завоевала второе место, а за исполнение вокального цикла «Аркана» канадского композитора Шейфера она была удостоена специального приза.

В. Чачава обладатель диплома VII Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки за лучший аккомпанемент. Многие говорят о его концертмейстерском мастерстве слова выдающейся канадской певицы Галины Габора: «Надеюсь, что все мои выступления в СССР пройдут с известным грузинским пианистом Важа Чачава».

Полнокровна и многообразна творческая жизнь В. Чачава. Позади немало интересных выступлений в Тбилиси, Москве, Ленинграде и за рубежом со звездами грузинской вокальной школы — Ц. Татишвили, Н. Андгуладзе, Н. Тугуши, М. Амиранашвили, Р. Какабадзе, участие в юбилейном вечере, посвященном памяти выдающегося грузинского певца и педагога Д. Я. Андгуладзе и многое другое.

В. Чачава немало способствовал успеху произведений молодых грузинских композиторов на пленумах Союза композиторов в Тбилиси и Москве. Вместе с Тенгизом Чачава они успешно исполняли вокальные циклы молодых композиторов Г. Члаидзе и В. Чулухадзе.

В. Чачава преданно служит делу совершенствования концертмейстерского искусства, заботится о воспитании молодых кадров. В консерватории он работает на кафедре сольного пения (камерное пение) и концертмейстерского искусства. Среди его коллег — бывший его педагог профессор Нино Лаперашвили, сыгравшая немалую роль в заинтересованности Важа концертмейстерским искусством.

Общественная нагрузка (председатель жюри приемной комиссии в консерваторию по кафедре фортепиано, член жюри республиканских и городских конкурсов), активная творческая деятельность — залог будущих успехов и интересных встреч.

ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА

Бывают встречи с музыкантами-исполнителями, которые выливаются в подлинный триумф исполнительского мастерства. Пусть мы порой и не согласны с интерпретацией произведений, но нас пленяет новое, собственное его осмысление музыкантом.

Именно в такую встречу с музыкантом-творцом вылилось выступление в Большом зале Тбилисской государственной филармонии лауреата международных конкурсов, призера конкурса имени Вэна Клайберна, лауреата премии Ленинского комсомола Грузии Лексо Торадзе. В программе пианиста были фортепианные концерты Моцарта, Листа и Прокофьева.

Что можно сказать об этих выступлениях молодого пианиста? Пожалуй, то же, что писал о нем американский «Энтертейнмент» за ноябрь 1977 года: «Каждый присутствующий на концерте отдавал себе отчет, что слышит музыканта, который может стать легендой».

В связи с конкурсом имени Вэна Клайберна 9 октября 1977 года «Нью-Йорк таймс» отмечала: «Шнебеля спросили, в чем он видит роль музыканта... Он сравнил ее с ролью проводника в альпийских горах: «Проводник обязательно должен доставить вас на вершину, чтобы оттуда вы смогли насладиться видом с высоты». Благодаря Торадзе вид, открытый в сентябре из Форт Уорта, стал незабываемым...».

Конкурс имени Клайберна — одно из крупнейших международных состязаний. Лауреат конкурса Клайберна — титул высокий, почетный, а стать одним из его победителей — куда почетнее...

Лексо Торадзе начал учиться игре на фортепиано в Центральной музыкальной школе имени З. Палиашвили с шести лет. В течение одиннадцати лет его педагогом была заслуженный педагог республики Р. Рожок. В последние годы учебы он консультировался у профессора Тбилисской консерватории Е. Гуревич. Еще учеником Лексо активно участвовал в концертах, проводимых в разных городах. В 1971 году он принимал участие в конкурсе закавказских музыкантов-исполнителей. В том же году он становится участником всесоюзного состязания молодых советских пианистов. Вскоре после этого в составе делегации грузинских композиторов Лексо отправляется в ГДР, где вместе с коллегами демонстрирует грузинскую исполнительскую школу. Немецкие слушатели, очарованные искусством юного пианиста, в том же году вновь приглашают его в ГДР. С 1971 года Лексо продолжает учебу в Московской консерватории в классе профессора Закка, а с 1974 года занимается у известного пианиста и педагога Б. Землянского. Землянский с необычайной теплотой и любовью взялся за воспитание грузинского пианиста, результатом его неутомимых стараний явилось то, что за очень короткий срок они подготовили несколько сложных программ, с которыми Лексо выступил в Италии в 1975 году на конкурсе имени Каза Гранде. На этом конкурсе он впервые был удостоен высокого звания лауреата международного конкурса. В том

же году Лексо успешно заканчивает Московскую консерваторию и поступает в аспирантуру в класс профессора Землянского. После этого начинается долгая и кропотливая работа над новыми программами, впереди сложное испытание... И вот объявляется конкурс имени Вэна Клайберна, который должен был состояться в октябре 1977 года в городе Форт Уорте, штат Техас (США).

Буквально за два месяца до конкурса не стало Землянского. Оставшееся до конкурса время Лексо консультирует профессор Л. Наумов. И вот в сентябре Л. Торадзе уже в США. Ему пришлось соревноваться с теми 76 пианистами, что были отобраны на доконкурсных турах из 300 исполнителей. Не следует забывать также, что из этих 76 пианистов 72 уже были лауреатами нескольких представительных международных конкурсов, а 26 из них имели первые премии. Этот конкурс, как отмечала «Нью-Йорк таймс», был самым сложным по сравнению с предыдущими с точки зрения подготовленности его участников.

Жюри присвоило Торадзе вторую премию... Он одержал блестящую победу. Но вернемся к американской прессе. «Нью-Йорк таймс» от 9 октября 1977 года: «Присуждение Первой премии Стивену де Груту вызвало значительные разногласия в жюри и публике — многие почувствовали, что Первая премия по праву принадлежала Александру Торадзе, 25-летнему советскому пианисту, занявшему второе место... Присуждение Первой премии было компромиссным решением жюри...».

Но конкурс — дело одно, а концерт — другое. Конкурсы невольно порождают ажиотаж чисто спортивного свойства — не в обиду им сказано! И даже профессионалы, заразившись лихорадкой борьбы, начинают слушать как болельщики: попадет пианист в ноту или нет?

Иное дело — слушатели концертов. Для них неважно, попадет ли нота в ноту, для них важно, попадет ли нота в душу. И этой публике угодить гораздо труднее.

Искусству Торадзе чужды обнаженная эмоциональность, утонченная нервность, парение в «высях». Оно облагорожено истинным талантом. Замечательно и звуковое мастерство молодого пианиста. Звук, его чувственная красота — отнюдь не самоцель для него. Слушаешь игру Лексо Торадзе и вспоминаешь мысль, удачно сформулированную Г. Нейгаузом: «Красота звука» есть понятие не чувственно-статическое, а динамическое: наилучший звук (следовательно самый «красивый») тот, который наилучшим образом выражает данное содержание». В концерте Моцарта для каждой части был найден свой особый звуковой колорит: ослепительные краски первой части соседствовали с чуть приглушенными, «матовым» звучанием *Andantino*, а в Скерцо и Финале особенно сильное впечатление произвела тонкая смена динамики, «микронюансировка»; здесь звучание приобретало даже некоторую призрачность — словно окутанный легкой дымкой порыв — воспоминание о душевной буре, пронесшейся в первой части.

Поэтому строки из американских рецензий отнюдь не кажутся нам преувеличением. В частности последняя: «Александр Торадзе — музыкант такой яркой индивидуальности и остроты, которые могут сделать его вторым Рубинштейном».

Зоя МАСЛЕНИКОВА

ПОРТРЕТ ПОЭТА

— Это как раз понятно.

— Но мы такие разные. В искусстве — в своих рисунках — он символист, а я стою на реалистических позициях.

— Искусство объединяет людей, если они стоят на каком-то уровне, независимо от направлений. Он говорил вам, что я был на выставке его сына?

— Да. Он говорил, что вас пригласила какая-то женщина, потом покончившая с собой.

— Кто же? Я не помню.

Он думает, потом с болью восклицает:

— Простить себе не могу, что сразу не вспомнил. Ее фамилия Александрова. Он говорил вам? Ну, как я мог сразу о ней не подумать! Очень хороший была человек.

Потом он спрашивает о моей жизни.

Я говорю, что впервые за всю жизнь живу в комнате, в которой, кроме меня, никого нет.

— Вы не можете себе представить, какое это благо.

— Я это очень хорошо понимаю.

— Откуда? — с недоверием спрашиваю я, думая о его комнате.

— Устаешь от разговоров, от внутреннего диалога. Хочется тишины. Поэтому я люблю гулять один...

— Недавно я прочла «Марию Стюарт» Цвейга, — сказала я ему.

— Я ее не читал.

— Не понимаю, зачем нужна эта книга и почему вообще вокруг Марии Стюарт столько шума. Цвейг все время противопоставляет ее Елизавете, все симпатии его в общем на стороне Марии, а меня гораздо больше привлекает Елизавета. Основой ее существования было созидание, а у Марии — расточение и честолюбие.

Окончание. Начало в № 10—11 за 1978 год и в №№ 2 и 3 за 1979 год.

— Я ведь много занимался Марией Стюарт, изучал документы; ее без конца идеализировали и воспевали в литературе, но я думал о том, что вот сила ее чувств, выразившаяся в том, что она пошла на убийство, — это скорее истинность века, а не личное ее свойство.

Разговор как-то переходит опять на Ницше.

— Я переписываюсь с одним французом. Он страстный поклонник Ницше, он знал его и живет им и даже каждый год ездит в Швейцарию, где жил Ницше уже сумасшедшим. Это он прислал мне целую кучу книг о Ницше по-французски, как только узнал, что я им интересуюсь, и просит меня написать о нем. А я испытал разочарование в Ницше и написал письмо, в котором объяснял, почему я не могу этого сделать, ну, вот потому, что он выразитель средних обывателей с их стремлением раздуться до сверхчеловеков и так далее. Он мне ответил, что ему дорого все, что я написал о Ницше, что оценка эта верна.

— А вы написали — «что такое человек» — для немецкого журнала?

— О, этот же француз заклинал меня не писать, потому что такие запросы обращают к людям с именами захудалые журналы, чтобы поправить свои дела. Я им написал, что если я за всю свою жизнь своим творчеством не ответил на этот вопрос, то вдруг за короткий срок найти на него ответ вовсе не могу.

— Но все-таки вы думали об этом? Что именно?

— Меня человек интересует только исторически.

— В этом есть что-то бездушное.

— Бездушное? — Он задет. — А как же еще можно смотреть, если хочешь что-нибудь понять? Я вам говорил? У меня есть определение: культура — это плодотворное существование. Человек — носитель этого плодотворного существования.

— Да, но еще многое зависит от оценки этих плодов, плоды бывают и вредные.

— Ну, конечно!

— В вашем определении отсутствует, на мой взгляд, существенное — из всех биологических видов человек оказался более других способным к быстрым изменениям.

— Ну да, это очень важно — способность к переменам, к перестройкам.

— Да вы так не думаете. Вы не считаете, что человеческое общество имеет право на социальные эксперименты.

— Я этого не говорил....

...Помолчали. Потом я говорю:

— Теперь я вам признаюсь: позавчера я тут ревела от сознания, что я бездарна.

— У вас тоже был грустный день?

— Да. Вам, наверно, нужно идти?

— Да. Я вам хорошо сегодня постоял, два часа.

Уславливаясь о следующем сеансе, я говорю, что он последний.

— Да не мучайте себя этим, почему непременно последний?

— Я сама себя заклинаю. Мне кажется, что даже прихода с этой ранней зимой меня торопит.

Вешая ключ на кухне, я увидела, как он, сидя на стуле в передней, стаскивает сапоги.

— Сейчас буду принимать душ.

— Кончится это ревматизмом.

Он дружески улыбнулся в ответ.

21 октября 1959 г.

Появился Б. Л. поздно, в третьем часу.

— Я все помню, что вы мне говорили и что я вам говорил, но я сегодня недоспал, неважно себя чувствую, и у меня лицо не такое.

— И вам не хочется позировать? Не надо тогда.

— Нет, нет, просто я боюсь, что мало вам подойду таким.

— Раз вам не по себе, нездоровится, не нужно.

— Но вы были бы рады, если бы я постоял?

— Ну, конечно!

— Я буду стоять, с тем я и пришел.

Лицо у него, правда, совсем изменившееся: грустное, усталое, чуть обмякшее, но опять полно какой-то новой, очень человеческой привлекательности. Почти весь этот сеанс я держала его спиной, так мы и разговаривали.

— Почему вы плохо себя чувствуете, Борис Леонидович?

— Это даже странно. Очень часто я сплю по шесть часов и хорошо с этим справляюсь, а тут недоспал всего час — и голова какая-то мутная, и зябко.

— Это, наверно, Кальдерон виноват? Вы не слишком изза него устаете?

— Очень может быть. Он меня снова разочаровал. Он беднее и однообразнее, чем мне показалось.

— Может быть, все пришло бы в равновесие, если бы вы продолжали наряду с переводом и пьесу писать?

— Нет, надо сначала с ним разделиться.

— Сегодня я сделала ошибку. Утром, до того, как к вам ехать, прослушала снова баховские «Страсти по Иоанну». От пережитого волнения сейчас какая-то опустошенность и усталость, не надо было этого делать.

— Где же вы их слушали? У Дмитриева?

— Нет, дома, он мне дал на время пластинки. Жаль, что вы так загружены, я бы привезла их вам послушать. Или вам не до этого?

— Да. Мне присылают хорошие пластинки — современную музыку, Стравинского, но их слушают Ленья и гости.

— Почему у вас такое отношение к музыке, Борис Леонидович? — мягко спросила я.

— Это не только к музыке. Я понимаю, что многое упускаю, но что делать! Впереди так мало времени, а сделать хочется многое.

— Уже и кроме пьесы еще чего-то хочется?

— Нет, пьесу очень хочется сделать. Сосредоточить в ней свои мысли об искусстве. Иногда совершенно случайно, ну, чтоб завернуть что-то, возьмешь газету и вдруг обнаружишь что-нибудь. Вот попались стихи из Челябинска. Кажется, Татьяничева. Очень в форме сделано, ничего лишнего, мне нравится такая каллиграфия. И из Челябинска.

— А вы не видели стихов Евтушенко в «Октябре»?

— Это там? — Он приводит какую-то знакомую строчку из Евтушенко.

— Нет, там этого нет. Есть хорошие стихи. Одно стихотворение легко пересказать, называется «Карьера». Мысль его в том, что настоящую карьеру делали те, кто шел наперекор, не боялся остаться в одиночестве, рисковать жизнью, а те, кто считал, что делали карьеру, приспособлялись к господствующему мнению, на самом деле ее губили. Там есть такое четверостишие:

**Ученый, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее,
Он знал, что вергится Земля,
Но у него была семья.**

А кончается так: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее».

— Да. Не надо ни из кого делать себе кумира, а просто ценить удачи и свое лицо. В каком номере эти стихи? В октябрьском?

Заговорили о рефлекторе, которым я теперь пользуюсь. Б. Л. попросил после работы принести его в дом.

— Так легко оставить его включенным. Эти нагревательные электроприборы — коварная штука. Недавно был такой случай. Я ложился спать, весь дом уже давно спал, и вдруг услышал слабый запах гари. У меня очень хороший нюх. Другой раз идешь по Переделкино ночью, в темноте, и ясно так представляешь: здесь кипятили молоко, и оно ушло — пахнет пригоревшим молоком. Я прошел по всей системе оголения — думал, может быть, перегрелась и где-нибудь начала краска плавиться, нет, все в порядке. Решил не обращать внимания, ложиться. Стал раздеваться. А запах такой знакомый. И вдруг вспомнил, во время войны на печурках сушили дрова, и иногда они начинали тлеть, обугливаться, и от них шел такой тонкий, горький запах. Я спустился вниз к Зинаиде Николаевне, она еще не спала. Поговорил с ней об этом, вышел, а у нас гладильный столик сделан из старого письменного стола, очень дешевого, фанерного, ужасного! На кружке стоит включенный утюг, кружка раскалилась, а под ней на фанере темный круг.

— Хорошо, что услышали, могла быть беда.

— Да. Может быть, большого несчастья и не было бы, но кто знает, как далеко могло зайти, прежде чем спохватились бы.

Помолчали.

— Я вам антологию принесла. Большое спасибо. Я зря так с наскоку судила, там есть немало интересного. И там есть поэт, который в одной частности, но существенной, мне нравится. Это...

И мы вместе одновременно произносим:

— Герберт Рид.

— А вы слышали, что я сказал Рид?

— Да! Но, Борис Леонидович, почему вы подумали, что это я его имела в виду? Скажите!

Действительно, странно — в антологии на равных началах представлено больше двадцати поэтов, размещенных в алфавитном порядке.

Б. Л. дает оценку Риду в каких-то неуловимых для меня выражениях.

— Он был главой целой школы, — говорит он. — Эскейшисты, персоналисты — вот как это называлось. Многие из вошедших в нее поэтов участвовали в этой войне. Они непротивленцы, но они отказывались не участвовать в войне, эскейшизм выражался в том, что они исключали войну из литературы.

— Мне он понравился по очень простой причине. Его герой постоянно ощущает тщетность индивидуальных усилий, безнадежность барахтанья человека в жизни. Но поступает всегда так, как будто уверен в целесообразности и успехе своих действий. Это у нас с ним общее. Не знаю, что за сила заставляет так действовать, ну, просто, чтоб не быть тряпкой.

— Это проявление энергии, жизненности и составляет вашу индивидуальность, вашу особенность.

Мы сговариваемся на среду, это будет последний сеанс, хотя мы об этом и не говорим.

27 октября 1959 г.

Я с час поработала без него, застыли ноги, и я вышла попрыгать, чтоб согреться. Вдруг из дому вышел Б. Л. Я тотчас остановилась, а он покачал головой. Он был в сером пальто и черной каракулевой шапке пирожком, какой-то неприличный, в них он кажется очень высоким.

Он пристально посмотрел на портрет.

— Ничего мне не говорите перед работой, я должна буду выслушать ваше мнение, но пусть это будет в конце сеанса, когда все кончится.

— А какое еще может быть мнение, кроме того, что очень хорошо. Это и есть мое мнение.

Весь большой разговор этого сеанса запомнила урывками, видимо, сказалось напряжение последних минут работы.

— Наверно, лет через десять я буду над одним портретом пять лет работать, — сказала я.

— Давайте не будем считать это последним сеансом. Хотите продолжить?

— Нет, не хочу. У меня есть самолюбие. Я сказала это вовсе не потому, а от того, что чем дальше, тем больше отодвигается от меня конец работы. Когда я встречаюсь с художниками и вообще с людьми, занятыми творческим трудом, я

теперь пристаю к ним с одним вопросом: что заставляет их считать работу законченной?

— Мне можно вам отвечать?

(Перед этим я работала надо ртом).

— Да, конечно.

— Сначала вы смотрите, и вам кажется, что вы видите, и вы начинаете работать, но это лишь овладение материалом, знакомство с ним. Вы убеждаетесь, что пока еще не видели, не охватили всего и в процессе работы уточняете свое понимание. У вас есть модель, и вы добиваетесь сходства, достоверности. Но это слишком ваш случай. Что привлекает нас в искусстве? Возможность придать неживому подобие жизни. Для меня часто надо, чтобы приняться за работу, втянуться в нее — пойти по ложному пути, взяться за что-то случайное и боковое.

— Как страничка о следах планировки усадьбы?

— Да. Я берусь за такую частность, увлекаюсь, а потом забываю об этих страницах. Затем идет работа над газетным слоем, подмалевком, я вам говорил: это запись сюжета, событий, расстановка действующих сил. Потом, когда это сделано, я насыщаю это жизнью, добиваюсь сходства с моей внутренней моделью. А когда это достигнуто, когда материал начинает жить и достоверно соответствует моей модели, это меня удовлетворяет, и я останавливаюсь.

— Я понимаю. Но в работе над вашим портретом я впервые почувствовала вот что: сначала идут поиски общей формы, это и есть композиция. Но основное — это размещение частей внутри общей формы. Оно, как в исполнительском мастерстве в музыке, может иметь свои отяжки, акценты, придыхания, все в рамках достоверности, все они несут свою смысловую нагрузку — и тут открывается бесконечность.

— Я вас понимаю. И вот что, я не хочу, чтоб у вас было чувство, что вы сегодня окончательно расстанетесь с работой.

— Это, конечно, расставание и с работой, и с вами...

Я его спросила, познакомит ли он меня с пьесой, когда ее напишет.

— Непременно. И если я буду читать пьесу, я вас позову... Зоя Афанасьевна, я вас считаю другом и хочу вас спросить: заметили ли вы, что этих прошлогодних событий как бы не было в моей жизни, что я занят делом, работой и мало о них думаю и говорю?

— Заметила, конечно. Но если уж пошло на откровенности, то меня больше беспокоит ваша потребность в откликах, то, что вы к ним начинаете привыкать и, может статься, без этого уже не сможете.

Он отвечает с большой серьезностью и искренностью:

— Нет, это не так. Это в жизни тоже должно быть, но не как привычка к щекотанию нервов, а как накопление, освоенное нового материала...

...Но в это время показывается почтальонша, которую он высматривал в окошко, а когда он возвращается, мы говорим уже о том, как сохранить работу.

— Если мной интересуются и зачем-то делают портреты, то тем больший интерес представляет ваша работа, которая сделана с меня и так удачно... Почему не сделать эту работу известной? Конечно, все такие шаги я буду предпринимать только с вашего ведома и согласия.

Он вдруг стал рассматривать портрет и пришел в возбуждение:

— Молодец, Зоя! А правда, я изменился за последние пять-шесть дней?

— Да. Особенно вчера вы плохо выглядели. Лицо было землистое, все живые краски ушли.

— Да. И как ни кокетничай, красавца из меня не получится, кокетство мне не помогает...

— Когда вы Кальдерона кончите?

— Недели через две.

— Так подвинулось?

— Да, но потом...

— Как, потом еще что-то будет?!

— Нет, потом еще неделю займет чистка и редактирование. Но вообще еще кое-что будет.

Вот еще отрывок из разговора:

— Не знаю, поймете ли вы это. Эта мысль так сжата в формулу, что нужно о-очень быть подкованным в философии, чтобы она дошла в таком виде. Вот она: ботаника, зоология, география — науки неизбежно описательные, другими они быть не могут. Но яблоня не нуждается в описании, она сама пишет свою биографию.

В этот день я наслушалась от него похвал по разным поводам. Говорил он обо мне задушевно и серьезно и сказал много такого, что запало в душу.

Он в третий раз предложил продолжить работу.

— Вы можете приехать поработать, но если решите не работать и приедете забрать голову, я и к этому буду готов, не удивлюсь. Хорошо?

Мы улаживаемся, что он позвонит до субботы и мы соговоримся.

28 октября 1959 г.

В десятом часу вечера я подошла к телефону.

— Зоя Афанасьевна, пусть этот день будет понедельник второго ноября, хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо.

— Как вы живете?

— Почему-то испытываю сильную усталость и стараюсь ничего не делать.

Рассказываю ему о сегодняшнем разговоре с Асеевым по телефону.

— Будете с ним говорить, передавайте привет.

— Спасибо, передам. А как вы? Как настроение?

— Э-э... Работа то идет, то спотыкается. У нас с вами ведь все зависит от работы, да?

- Пожалуй.
- Ну, будьте здоровы.
- До свиданья.



2 ноября 1959

На этот раз, увлеченная работой, я не заметила, как он подошел, и вздрогнула от стука открываемой двери.

— А-а! — воскликнул он, впившись взглядом в портрет. — Очень хорошо! Очень хорошо! Простите меня не только за то, что поздно пришел, но и за то, что сбил вас с вашего решения кончить в прошлый раз.

— Вы умница, что пошли на это. Знаете, этой ночью вы мне приснились. Вы были великолепно освещены, а главное — лысый, все было так понятно. Это нелепо, но это мне помогло.

Я сообщаю о переговорах с форматорм и фотографом, он входит в подробности.

— Вы говорили еще раз с Асеевым? — спрашивает он.

— Нет, я только вчера видела отца, я хотела его попросить посмотреть Асеева.

— А как Асеев отнесся к этому?

— Он сказал, что был бы рад. Дело в том, что папа болен той же болезнью и справляется с ней физическими методами, а Асеева лечили медикаментами, и сейчас у него любые лекарства вызывают аллергию.

— Пусть он его непременно посмотрит. Значит, вы были в воскресенье на даче?

И он принимается расспрашивать меня о моих домашних делах. Он задает и нескромные вопросы, вызывая меня на откровенность. Я отвечаю скупо, но по существу.

— Иногда я себя спрашиваю, — говорю я, — не наступит ли день, когда я из-за дочки пожалею, что так поступила.

— Нет, нет. Возвращения никогда не достигают цели. И не надо жалеть. Вы всех жалеете. Полудоброта — безотносительно, ко всем, ко всему — лучше сосредоточенной на ком-то доброты. Жертвы всегда бесполезны. И потом наше воображение суше и жесточе жизни, жизнь всегда милосерднее... И к моим жертвам она была милосердна. Нет, я не хочу сказать, что в жизни нет ужасного, трагического, непоправимого, но в общем, как закон, она добрее к нам, чем мы обычно ожидаем.

— Мне очень важно то, что вы сказали. Нет, это ничего не меняет, на компромисс я все равно не могла бы пойти, но вы единственный, кто одобрил мою линию в жизни. Близкие меня пугают будущим, и главный их аргумент — Даша.

— У Даши будут две матери — вы и жизнь.

И еще он сказал:

— Я против каких-либо правил — должна ли быть обязательно семья по домострою или свободная любовь — в каждом случае это по-разному... Жизнь сама решает, какой ей быть... Избежать ударов и несчастий мы часто не можем, но самое важное — это сохранить гордость. В конце концов нести наши неудачи с достоинством — это часто единственное, что нам остается. Но у вас есть ясная цель, воля, трудолюбие, ув-

леченность, страстность — все то, за что я вас люблю. Вам всегда, как ваше постоянное качество, сопутствует сдержанность. Вы — натура героическая. И вы человек искусства. Именно вокруг искусства особенно много болтунов и бездельников. Вашими спутниками и спутницами должны быть люди трудолюбивые, деятельные, каждый час которых направлен к цели, плодотворен, а не истерики и фантазеры. Такие люди, немного педанты, еще встречаются в научной среде, но в искусстве очень редко. Так называемые интересные люди, сразу бросающиеся в глаза в обществе, как правило, ничего не стоят, они пустоцветы. Остерегайтесь их. Есть такая вещь, как скромность. Люди, обладающие действительными достоинствами, о половине их не подозревают. И не бойтесь жизни; вы любите свое дело, вы своего добьетесь.

— Прошлой осенью, в такое тяжелое для вас время, вы мне сказали о том же, собственно, это были два слова, которые мне очень помогли: доверяйте жизни! Я ее боялась, потому что всегда приходилось одной нести все последствия своих поступков, не было опоры.

— Правда, лучше иметь дело с авторами драм, чем с их героями, — пошутил он.

Мы поговорили о чем-то другом — в это время, сидя на корточках, я рассматривала подбородок (снизу); я спросила:

— Признаться вам или не признаваться? Вы не рассвирепеете? Знаете, чем я буду заниматься, когда кончу этот портрет? Буду приводить в порядок записи того, что вы говорили об искусстве.

— Это о моих противоречиях?

— Нет.

— О, спасибо! Какая вы милая!

— Вы правда не сердитесь? Я страшно боялась.

— Нет, нет. Спасибо вам.

— Вы так свободно со мной разговаривали и вдруг...

— Да, прежде чем вы это сказали, я подумал — почему мне так приятно с вами говорить?

— Когда я их приведу в порядок, может быть...

— Показать их мне?

— Да, я могла что-то не так понять, ошибиться.

— Нет, не надо. Пусть это будет ваше дело.

— Страшно, что физическое состояние и рабочее не совпадают. Я спала всего два часа, сильно болит голова, а работается хорошо.

— Да, это и у меня часто бывает. Во время болезни или после бессонной ночи особое состояние — обостряется внимание. Но это на нервах, все-таки гораздо лучше быть отдохнувшим, выспавшимся, здоровым.

— Борис Леонидович, вы не пожалели, что порвали с вашим другом?

Он чуть удивлен тем, что вопрос впопад.

— В субботу 24-го были именины Зины. На воскресенье позвали гостей. А в пятницу, кажется, я был в городе, очень рано утром. Я поднялся к ним, два раза постучал, но не от-

крыли. Домработница, видимо, отлучилась, а они, наверно, еще спали. Я сунул записку: если вы можете перешагнуть через письмо, приезжайте, а не можете, то пусть свое дело сделает время, но ни слова извинений. Я в том, очень резко ^{и резко} ~~и резко~~ задел еще двух моих приятелей — Асмута и Нейгауза. Асмута — совершенно безобидное существо... его не стоит так обижать. Я не знал, дошло ли до него, что я написал, но я перед ним извинился. А до Нейгауза дошло, и извиняться я не стал.

— Были они?

— Нет. Он в тот вечер был занят, а жена не приехала, и вообще они сказали, что это еще надо обсудить. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо коньячной дружбы и излишней был просто интерес ко мне. И я не лягушка, чтоб меня раздувать. Правда, я изменился за последние дни? Это от переутомления.

— Да, вы не так хорошо выглядите, как я привыкла вас видеть. Но, наверно, перевод совсем уже близится к концу?

— Да.

— А вообще ужасно жаль, что вы так устали, когда предстоит кончать пьесу.

— Ну, кончать! До конца еще далеко.

— Все равно, впереди самое трудное.

— Нет, ничего. Я месяца на три-четыре обеспечился. Я вам говорил месяца полтора назад, что были материальные затруднения, что ожидалось какие-то ухудшения?

— Они не состоятся?

— Нет, минуют.

— Вот хорошо. Вам не нужно братья за новые переводы?

— Нет, я буду их делать. На очереди Незвал, Рабиндранат Тагор. Вчера у меня был один переводчик. Он сделал подстрочный перевод одного древневосточного автора — Кабуль, Кемаль? Я даже не запомнил. Уговаривал меня взяться. Почему-то существует такая нелепость, считается, что подстрочник должен делать один человек, а потом надо отдавать править его кому-то с именем, как будто автор подстрочника ни в коем случае не может справиться с редакцией. Я, конечно, отказался, сказал, что, по-моему, он сам должен это сделать...

— Ну, вот видите, переводы будут.

— Вам нужны будут фотографии? — спросила я.

— С портрета?

— Да.

— Да, спасибо! Вы с нескольких точек сделаете? И отсюда, и отсюда?

— Да, в разных ракурсах.

— Да, и даже несколько экземпляров, если можно.

Он хвалит портрет.

— Поставили последнюю точку?

— Можно и так считать. Знаете, меня не огорчает, а наоборот — радует, что кончаю, когда остаются возможности улучшить работу.

— То есть резерв? Я понимаю — как залог вашего движения.

— Вот вам и лимит исчерпан, — злорадствую я.

— А когда вы это говорили?

— Это вы говорили!

— Тогда, прошлой осенью, пусть на ошибочной, даже фальшивой основе вы сумели добиться какого-то очень живого сходства, передать что-то существенное. Это производило впечатление, и я не думал, что это можно повторить на другой основе.

...Он давно предупредил, что ему надо уйти в три, но он сам увлекся, и мы проговорили до полчетвертого.

— Ну все! — говорю я, наконец.

Он спохватывается. Смотрит портрет и принимается его хвалить. Потом подходит ко мне с каким-то чудесным, озаренным лицом.

— Мне сегодня было приятно позировать. Когда я вас увижу? Если вам нужно, я в вашем распоряжении.

— Что это вы такой добрый? Я не откажусь.

— Вы договаривайтесь с форматорм, а в пятницу я вам позвоню, и мы тогда окончательно условимся. По-моему, все, и можно поставить точку, но если вы хотите, в понедельник я вам постою.

На этом мы расстаемся.

11 ноября 1959 г.

Он не позвонил. Я взяла такси и в чудесный солнечный день 11 ноября отправилась в Переделкино. Машина остановилась у крыльца, а я вошла, как обычно — без стука в пустую кухню за ключом, но тут показались Б. Л. и домработница. Он был в пальто и в кепке.

— Вы забирать приехали? В добрый час! — сказал он, здороваясь. — Я вам приготовил десять стихотворений, я их сейчас принесу. Я вам чем-нибудь могу помочь?

— Ничем, шофер все сделает.

— А поместится?

— Думаю, что да. Я ведь на ЗИМе.

— Вы на меня не будете сердиться, если я уйду? Мне очень надо — и по телефону поговорить и вообще. — Он говорит это, заглядывая в глаза, как бы ища понимания.

— Конечно, идите...

— Так вы хотите стихи?

— Ну, как вы думаете?

— Я сейчас принесу.

Он идет наверх и спускается со стихами.

— О, спасибо! И вообще огромное вам спасибо за терпение и за доброту.

— Вам большое спасибо.

Это уже не формальность, а правда — благодарение его и мое.

Он несколько раз целует руку, говорит:

— И все продолжается. Да? Ну, до свиданья. В час добрый!

Мы грузимся и уезжаем.

11 января 1960 г.

Дома я доработала портрет. Его неудачно фотографировали в пластелине. Потом он был отформован, высушен и тонирован. Для него сделали подставку. Наконец, все было готово.

Я выбрала самый будничнейший день — понедельник и время, когда Б. Л. обычно нет дома, и отвезла предназначенный ему экземпляр на такси.

Я вошла в дом и сообщила З. Н., что привезла портрет.

— Да, но у нас сейчас нет денег.

— Разве что-нибудь переменялось? Борис Леонидович вам говорил, что не хочет портрета?

— Нет, нет, никакого такого разговора не было, просто мы сейчас заплатить не можем.

— Ни сейчас, ни потом денег я не возьму.

— Но как же так даром?

— Вот так, даром.

— О, спасибо! А где же он?

Шофер внес портрет, я — подставку, и его поставили в рояльной.

Я хотела уехать тут же, но когда З. Н. предложила подождать Б. Л. и сказала, что он хотел поставить портрет в кабинете, — осталась. Важно было найти освещение.

Пришел Александр Леонидович и его жена Ирина Николаевна, все говорили, что теперь очень хорошо, что похож, что лицо одухотворенное.

— Ведь можно сказать, что это Боря, правда? — сказала им. З. Н.

— Безусловно, — ответил А. Л.

Я сидела в рояльной с А. Л., который рассказывал о судьбе своего проекта для Севастополя, когда в столовой раздался голос Б. Л.

Он шумно разлетелся с восклицаниями, но замер в дверях, устремив пристальный оценивающий взгляд на портрет. На нем было зимнее распахнутое пальто (черное с черным каракулевым воротником, по которому шла резкая седина), черная каракулевая шапка пирожком и высоченные, как ботфорты, серовато-желтые валенки.

Он принялся хвалить портрет. Потом опомнился, снял шапку и поцеловал мне руку.

Он снял пальто, но остался в валенках. Любой другой в этих гигантских сооружениях, над которыми брюки казались трусиками, был бы смешон, но он был так домашен, так светски безразличен к своему виду, что они только прибавляли к его притягательности.

Опять все собрались, хвалили, обсуждали, где поставить портрет. Б. Л. хотелось, видимо, оставить его в рояльной.

— А то выйдет, что я собой люблюсь.

Но З. Н. говорила, что тут бывают гости, которые напиваются, могут толкнуть и разбить и что иногда здесь устанавливаются раскладушки. Б. Л. смирился.

Он взял портрет, А. Л. подставку, и мы пошли наверх. Портрет поставили между гардеробом и дверью на веранду, напротив места Б. Л. за письменным столом. Б. Л. подошел ко мне.

Я стала поворачивать голову, лица более выгодное освещение. Освещена она дневным светом плохо: окна начинаются низко от пола, и часть света падает снизу. При каждом повороте раздавались шумные возгласы, и я попросила:

— Не мешайте, дайте подумать!

— Да, верно, это автор должен сам решать, как стоять портрету, мы не должны мешать, — сказал А. Л., а когда я, наконец, повернулась, в комнате его уже не было.

— Я очень рад. Портрет очень хороший. И вы — прелесть!..

— Чем вы сейчас заняты?

— Пьесой.

— Только пьесой? А Лопе де Вега?

— Это потом, нескоро.

— Как хорошо!

— Да. Было время, она помертвела, а сейчас опять оживает. Я над ней еще долго буду работать. Я еще Незвала не сдал.

— А как здоровье?

— Сейчас хорошо. Было одно время что-то с сердцем, стало тяжело по лестнице подыматься, одышка, а потом прошло.

— Ну вот, а вы портрет тащили.

— Это ничего, с сердцем совсем прошло. Я знаю, что вы с Николаем Николаевичем видите и что вы что-то обо мне у него говорили, мне передавали. Спасибо вам.

— Он вам написал письмо, хотел, чтоб я его вам отвезла, но потом передумал, так оно у него и лежит. Он говорит: к чему это, если б он хотел дружить, то писем не надо было бы писать.

— Да не в этом дело, просто нет времени. Вот разделаюсь со всем этим и съезжу к нему, и все уладится.

— Что это у вас за новые украшения? — спрашиваю я про ряды открыток и снимков, наколотых на стены.

— Это отовсюду шлют, на рождество многое прислали. Вот это из Греции, — показывает он на фото античной головы с отбитым носом. — Пойдемте вниз, там ждут. Вы с нами пообедаете.

— Вы не так хорошо выглядите.

— Нет, это случайно. Иногда бывает, что выгляжу хуже, иногда лучше, но в общем — по-прежнему.

Спускаясь, он опять заводит разговор о деньгах, я говорю, что он зря возвращается к этому, моя точка зрения неизменна.

В столовой ждет распоряжений шофер, его засыпают вопросами, а я под шумок быстро одеваюсь в передней и вхожу в столовую одетая. Б. Л. удивлен:

— Как, вы уже уходите? А вы не пообедаете с нами?

— Нет, спасибо. Я поеду.

Он принимается хвалить и благодарить меня.

— И я получил глубокое удовлетворение от того, что портрет понравился и всем нашим. Я вам позвоню. Если произойдет что-нибудь важное — сообщу. А если что-нибудь будет написано, перешлю вам.

Он несколько раз целует руку и опять говорит о том, как доволен портретом. Я слушаю, кажется, довольно угрюмо (даже не запомнила похвал), и он говорит:

— Что бы вам такое сказать, чтоб вы поняли, что это не литература, а совершенно искренне, то, что я действительно думаю? Вот что я вам скажу! Надо хорошо относиться к людям.

До меня не сразу дошло.

— Это вы по поводу чего?

— По поводу...

Он ткнул себя в грудь. Я улыбнулась и не ответила. Я прощаюсь с остальными, у всех улыбающиеся теплые лица. Зинаиде Николаевне я говорю:

— Я очень рада, что вам понравилось, а то я ужасно вас боялась.

Она благодарит меня и целует. Я ухожу, оставив частицу души в этом доме.

12 февраля 1960 г.

11-го февраля Б. Л. исполнилось 70 лет. Это просто недоразумение какое-то!

Я приготовила монографию о Серове с хорошими иллюстрациями. На книге сделала надпись: «Великому и самому близкому художнику Борису Леонидовичу Пастернаку с благодарностью ученицы и любовью».

Но я не застала его дома, отдала домработнице книгу, попросила передать мое поздравление с днем рождения и привет и ушла, никого не встретив.

На другой день в половине третьего звонок.

— О, Зоя Афанасьевна! Здравствуйте! Большое вам спасибо! Ваш Серов такой чудный! Мне было очень приятно.

— Правда? Я рада.

— Да, и он так хорошо издан и вообще сам такой чудный, такой художник! Это, наверно, ужасно говорить, но мне тогда же подарили Рембрандта, но Серов мне даже больше нравится. И за надпись спасибо. Я получил большое удовольствие.

— ...

— Ну, будьте здоровы. Обнимаю и целую вас.

— Как, вы уже кончаете разговор? Но вы ни слова не сказали мне о себе!

— Сейчас, я только выгляну за дверь, не нужен ли кому телефон, я из Дома творчества звоню. Хорошо? Нет, ничего, говорят — пожалуйста.

В работе были перерывы. Приходит множество писем, вот заставили меня стены увешать открытками. Занимался переводами — то Кальдерон, то Незвал. Но новый год, я хочу сказать — новый год жизни я решил начать работой, хотя поздно лег, но сегодня хорошо поработал над пьесой. Я, правда, отваживал всех друзей, даже самых близких, в эти дни много уходил из дому. Но Ивановы вчера сказали, что у них есть для меня подарок и что они принесут его вечером. Ну, и засиделись, лег очень поздно. Правда, кроме Ивановых никого не было. Сегодня еще буду работать.

В это время нас разъединили, он позвонил снова и спросил:

— А вы чем сейчас заняты?

— У меня междуцарствие, ничего не могу надумать. Начала Асеева, но он заболел.

— Как, вы будете лепить Асеева?

— Да, уже начала.

— Даже начали?

— Да. Но он морочит мне голову стихами и не хочет лепиться, к тому же он серьезно болен.

— Ну, ничего, поправится, — будете продолжать.

— Да, конечно.

— А как вы себя чувствуете?

— Довольно хорошо. А вы здоровы?

— Здоров. Зоя Афанасьевна, уже заглядывают в дверь, нужен телефон, я вам лучше вечером как-нибудь позвоню. Спасибо. Спасибо вам! Будьте здоровы!

6 апреля 1960 г.

Прошло почти два месяца. Я не ездила в Переделкино, Б. Л. не давал о себе знать.

6-го апреля без двадцати десять вечера звонок. Я сразу узнала его по телефону кажущийся высоким, чуть сдавленный голос.

— Борис Леонидович, милый! — воскликнула я.

— Зоя Афанасьевна, вы не думайте, что мы о вас забыли.

— А я думаю.

— Нет, нет, это совсем не так.

— Нет, забыли.

— Да нет же. Просто много всяких дел и событий...

— ...

— Как вы живете? — спросила я.

— Э-э... кое-что переводил, немножко подвинул пьесу.

— А что у вас нового?

— Ну вот, МХАТ «Братьев Карамазовых» ставит. Нет, нет, это не имеет никакого отношения ко мне, но я хочу посмотреть. А как вы это время жили?

— Ужасно.

— Да что вы! Как же это?

— Если рассказать, не поверите, решите, что я или с ума сошла или выдумываю.

— Да что случилось?

И я ему рассказываю о драматических событиях моей жизни. На расстоянии чувствую его напряжение, с которым он слушает. Он вставляет вопросы, прерывает меня возгласами, переспрашивает. Мой рассказ его взволновал. Он высказывает свое отношение к тому, что случилось, дает советы и жалеет меня.

— Но вам, наверно, нужны деньги. Я мог бы вам дать сейчас три тысячи, у меня есть.

— Нет, нет, спасибо. У меня есть небольшой запас.

— Поклянитесь! Поклянитесь мне, что вам не нужны деньги.

— Не нужны, Борис Леонидович. И потом у меня есть источник, откуда я могу черпать.

Он меня уговаривает, но я отказываюсь.

Мы еще обсуждаем происшедшее. Наконец, он говорит:

— Зоя Афанасьевна, я с вами сейчас расстанусь, я ведь из Дома творчества звоню. Я вам позвоню через неделю.

— Будьте здоровы!

— Будьте здоровы! Я вам позвоню.

Проходили дни, недели, но обещанного звонка все не было.

И вот 13-го мая мне позвонила одна писательская жена, болтая, вдруг обронила такую фразу:

— Да, а вы знаете, что Борис Леонидович болен? Говорят, очень серьезно.

Я похолодела. Оказалось, она сегодня виделась с женой Либединского и та ей сказала, что у Пастернака инфаркт.

Через час я уже была в Переделкино.

Вот что я знаю о его болезни.

В апреле из Западной Германии приезжала его корреспондентка, журналистка Рената Швейцер. Они виделись. Рената была им совершенно очарована. Б. Л. был с ней очень мил, провожал ее (как раз на Пасху). В воскресенье 17-го пришли гости, много ели, много пили... На другой день после Пасхи он плохо себя почувствовал — появились ужасные боли в сердце и плече, но он, преодолевая их, спешно сел за пьесу. За очень короткий срок, чуть ли не за день, он написал целую картину, привел в порядок и переписал начисто все, что было сделано раньше.

23-го апреля... он слег. Олух-врач заявил, что боли — мышечные и что надо побольше двигаться.

Лежал Б. Л. у себя наверху, но спускался в уборную. Сильные боли скоро прошли, он даже вымыл голову. А в ночь с 6-го на 7-ое мая случился инфаркт. Тогда в дом переселилась литфондовский врач Анна Наумовна, и при больном установили круглосуточное дежурство сестер. З. Н. не жалела денег и постоянно приезжали порознь с консилиумами медицинские светила.

13-го я говорила сначала с Ниной Александровной Табидзе. Инфаркт протекал, как ему положено; наиболее опасны первые 9 дней; если они минуют благополучно, можно наде-

ваться на хороший исход. Потом ко мне вышла З. Н. Мы об-
нялись с ней, и я, как милости, просила у нее позволения чем-
нибудь быть полезной. Она меня благодарила, но не могла
что мне поручить. Но тут к нам подошла Анна Наумовна
сказала, что хочет покормить Б. Л. желе (он сидел на голод-
ной диете, и уже несколько дней ему не давали ничего, кроме
крохотных порций жидкой манной каши на воде). В доме не
оказалось желатина, и я тут же съездила в город и привезла
все, что требовалось.

С тех пор я стала ездить почти каждый день. Не знаю,
очень ли было нужно то, что я привозила, но я могла выно-
сить часы неизвестности в Москве, лишь что-то делая для
Б. Л.

Первое время вести были неплохие. 9-й день миновал, и
все жили надеждой на счастливый исход болезни — организм
у Б. Л. был превосходный.

Но потом появились тревожные и непонятные явления —
Б. Л. стал харкать кровью. С каждым днем падал гемогло-
бин. Врачи ломали голову.

Мы говорили с Тагер, и она сказала, что ее родственник
академик Тагер мог бы сделать рентгенологическое исследова-
ние. Она попросила меня передать это предложение Пастер-
накам.

Анна Наумовна ответила, что если появится необходи-
мость, она этой возможностью воспользуется. Но потом она
решилась, и мы вместе с Тагер ездили в Рентгенологический
институт на Солянке за аппаратурой и рентгенологами.

Тагер скрыла от меня результат. Но на другой день, это
было 27-го мая, З. Н., взяв с меня словно никому об этом не
говорить, сказала мне, что рентгеном обнаружен рак. Перво-
начальным очагом были, вероятно, легкие, затем произошла
метастаза через кость, поражен желудок.

Жить Борис Леонидовичу, по-видимому, осталось недолго.

При слове «рак» у меня все поплыло перед глазами. З. Н.
была поразительно мужественна и тверда, когда говорила все
это.

Вот что мне рассказывали о его последних днях.

Пожилой сестре Марфе Кузминичне, проведеншей в борьбе
за его жизнь тяжелую ночь, Б. Л. сказал, что если б мог,
он встал бы и поклонился ей в ноги за то, что она его отстоя-
ла, потому что той ночью он «слышал дыхание иного мира».

Татьяне Матвеевнe сказал: «Трудно, Таня, хочу умирать».

А Зинаиде Николаевне говорил о том, что рад, что умирает.

От Анны Наумовны я слышала, что все время он был в
сознании, переносил болезнь необычайно мужественно, и если
стонал, то они знали, что он спит.

Я еще раньше просила З. Н. передать ему, что мои не-
приятности уладились, и мне говорили, что он знает, что я
часто бываю и привожу цветы и еду, и что он велел очень
кланяться и благодарить.

В последние дни Борис Леонидович отказался от пищи.

30-го мая утром он сказал родным: «Ну, что ж, будем прощаться?».

Но его стали уговаривать, что в этом нет необходимости.

Вечером ему сделали второе переливание крови, но на этот раз горлом пошла кровь.

В одиннадцатом часу он позвал сыновей. Он говорил им о том, как они должны жить, хотел, чтобы они больше сблизились и просил не винить за то, что у него была вторая жизнь. Сыновья ушли, он очень устал от разговора, Леня мне потом говорил: «Может быть, этот разговор стоил папе жизни».

Он еще попросил Марфу Кузминичну не забыть утром пораньше открыть окно. Это были его последние слова.

В 11 ч. 20 м. он умер.

И вот я стою 31-го мая в рояльной одна. На раскладушке, посреди пустой комнаты, из которой убрали всю мебель, лежит Борис Леонидович. Он очень изменился. Стал законченно, безупречно красив, на лице отчетливое выражение познанной тайны, сдержанного страдания, в своей силе перешедшего в скрытое упоение. Это не отрешенность, а захватывающее переживание таинства смерти. Как будто в последние мгновения, когда еще лицо могло отражать работу познания, он был уже «там».

И все это так сложно и значительно, так согласованно, что лицо потрясает и от него невозможно оторваться.

Увы, и это выражение оказалось преходящим, и скоро он изменился, стал величественней и отчужденней.

Я, наверно, долго над ним стояла, потому что вошла З. Н., медленно накрыла его простыней, и, обняв меня за плечи, увела.

Я уехала очень поздно, а на другой день вечером снова была там. Рояльная, столовая, терраса были уставлены цветами. Благоухали горы сирени, розы, нарциссы, ландыши... Шли люди прощаться. Шли переделкинские рабочие, крестьяне из Измалкова, близкие и незнакомые.

Теперь я часто приезжаю на кладбище. Я смотрю на окна комнаты Бориса Леонидовича, и меня не покидает странное чувство: их двое. Один там, в земле, а другой стоит у окна и разговаривает со мной. А когда я ухожу, я слышу: «И все продолжается, да?» И для меня правда все продолжается, и наши долгие беседы, и работа над его новым портретом, и узнавание его в рассказах и разговорах о нем, и неожиданные встречи с ним и в стихах, и в природе, и в событиях жизни. И очень хочется выразить все это когда-нибудь, объяснить другим, какое безмерное богатство он нам оставил. И то, что он был в моей жизни, заставляет меня любить ее как чудо, как удивительную редкую удачу, и вся она пронизана и освещена этим соприкосновением с душой великого поэта.

Май 1961 г.

«ГРУЗИНСКИЕ РОМАНТИКИ»

«ЭТА книга, — говорится во вступительной статье Г. Л. Асатиани и Т. П. Буачидзе, — посвящена четырем грузинским романтикам, сыгравшим большую роль в становлении и развитии новейшей грузинской литературы. Их имена: Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Николоз Бараташвили и Вахтанг Орбелиани».

Читатель, интересующийся творчеством этих поэтов, найдет в сборнике, вышедшем в Большой серии Библиотеки поэта ленинградского отделения издательства «Советский писатель» (1978) прежде всего лучшие произведения замечательной плеяды поэтов-романтиков первой половины XIX века — Александра Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, Григола Орбелиани и Вахтанга Орбелиани в переводе прекрасных русских поэтов П. Антокольского, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, М. Лозинского, А. Кочеткова и других. Обстоятельная статья Г. Л. Асатиани и Т. П. Буачидзе знакомит с их творчеством, проникнутым идеями гуманизма, свободолюбия и самоотверженной любви к родине, новаторским по своим художественным устремлениям. Авторы этого обзора останавливаются на названных чертах поэзии грузинских романтиков потому, что она оказала воздействие на всю последующую грузин-

скую литературу, способствовала формированию в ней демократических тенденций и реалистического стиля. Значительное место в общественно-литературной деятельности А. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Г. Орбелиани и В. Орбелиани занимает пропаганда идеи сближения с прогрессивной русской культурой и литературой.

Помимо этого, каждому поэту предпослана биографическая справка, даны их портреты.

А все вместе взятое поможет читателю составить довольно полное представление о замечательной плеяде грузинских поэтов-романтиков.

«ТЯЖЕЛЕЕ ЗЕМЛИ»

«КНИГА Евгения Евушенко «Тяжелее земли», — читаем мы во вводной статье редактора - составителя этого сборника Георгия Маргвелашвили, — замечательный итог почти четвертьвекового сотрудничества выдающегося русского советского поэта с Грузией — с ее народом и землей, с ее поэзией и поэтами». Эта статья известного грузинского критика, названная «С мужеством и правдою в груди», — своеобразный литературный портрет поэта, знакомящий заинтересованного читателя с той стороной его творческой деятельности, которая смыкается с нашей республикой и ее литературой.

К изданию этой книги, недавно выпущенной на русском языке «Мерани», причастна и Главная редакционная коллегия по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузинской ССР.

Сюда вошли стихи Е. Евтушенко о Грузии и его переводы поэтов Грузии. Собственные стихи автора — а их здесь 43 — разбиты на три раздела. Это по существу хоть и небольшая, но целая поэтическая книжка. Зато часть, отведенная переводам грузинских поэтов, превышает ее чуть ли не в три раза. Такое обилие переводов просто поражает. И все это — за 25 лет! Имен здесь также многое множество, начиная с Руставели и кончая совсем молодыми силами сегодняшней грузинской поэзии, такими, скажем, как Мамука Циклаури, Тедо Бекнишвили и другие. Переводы поэтов Грузии расположены по двум разделам — классика и современная грузинская поэзия. Охват имен тут таков, что напрашивается назвать часть книги, отведенной поэтам Грузии, своеобразной антологией грузинской поэзии, перевод которой осуществлен всего одним человеком, — поэтом Евгением Евтушенко, другом грузинской литературы не на словах, а на деле. Свидетельство тому — его книга «Тяжелее земли».

«ДАТА ТУТАШХИЯ»

В ЭТОМ романе известного грузинского писателя Чабуа Амиреджиби на широком фоне жизни Грузии конца XIX—начала XX вв. выведен образ человека, который не мирится

с нравственными позициями общества, отошел от него и ведет поиски в привативной сфере. Обо всем этом поговаривается в рамках сюжета, построенного на острых ситуациях.

Как отмечает в своем послесловии «Судьба божественного рыцаря» Реваз Тварадзе, роман «Дата Туташхия», появившийся несколько лет назад (1972) в грузинском молодежном литературном журнале «Цискари», вызвал большой интерес читательской общественности. И далее Р. Тварадзе пишет: «Уже с древнейших времен грузинская литература в лучших своих образцах умела провести своих героев через постижение глубин духовных истин, не нанося при этом ущерба их психике, умела так раскрыть перед этими героями самые глубокие бездны бытия, чтобы мир в их глазах не лишался всей своей красоты и не утрачивалась прекрасная гармония переходящего и непреходящего. Продолжением этих традиций грузинской литературы является роман «Дата Туташхия».

Книгу эту в переводе с грузинского только что выпустило издательство «Мерани».

«МАСКА»

В ЭТУ книгу грузинского писателя Тамаза Бибилури вошли его повести и рассказы, с которыми в переводе с грузинского Л. Громеко русский читатель знакомится впервые. Превосходный знаток грузинской деревни, ее жителей — земледельцев и пастухов, ремесленников, — он рассказывает о ней в своеобразной манере, которую трудно определить, потому что здесь нали-

цо элементы и притчи, и сказа, и зарисовки, и очерка.

Книга прозы Тамаза Библиური, составленная из тринадцати произведений, — как бы мозаичный портрет народа, показанного в труде. Мы видим героев сборника то на виноградниках, то на фермах. Встречаемся с ними и в пути, и дома. Знакомимся и в праздники, и в будни. В целом же в книге «Маска», изданной в этом году в Москве «Советским писателем», выражено глубокое уважение автора к человеческой личности, вера в ее неограниченные возможности.

«ДИВНАЯ ПТИЧКА»

АВТОР этой повести — прозаик, сценарист и режиссер Реваз Габриадзе. Зрителям хорошо знакомы такие фильмы, как «Необыкновенная выставка», «Не горюй», «Чудаки», «Кувшин», «Ссренада», «Мимино» и другие, снятые по его сценариям. «Дивная птичка» — повесть, вышедшая небольшой

книжкой на грузинском языке в Кутаисском филиале издательства «Сабчота Сакартвелო» (1978).

В кратком предисловии «От автора» Р. Габриадзе рассказывает, что историю, положенную в основу этой повести, он услышал еще в детстве, сидя у очага, то ли в Кутаиси, то ли в Сакаре, а может быть, и в его родном Дзугнури. И если в то, о чем повествуется в «Дивной птичке», читатель вряд ли поверит, то уж он не сможет не согласиться с тем, что историю ее героев автор действительно слышал. Правда, потом она обростала, обогащалась соразмерно с его жизненным опытом новыми аспектами, деталями, штрихами, данными, почерпнутыми из научной литературы, и вот теперь предлагается вниманию читателя в свойственной Р. Габриадзе манере скрещения реальности и фантазии.

КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

В ТЕЧЕНИЕ недели в Сарбрюккене гостила делегация грузинских писателей в составе Дж. Чарквиани, Г. Жоржолани и М. Пощишвили, которые находились там в творческой командировке по приглашению Ассоциации писателей земли Саар.

Во время встречи были обсуждены планы дальнейших творческих контактов между грузинскими и немецкими писателями, вопросы издания и переводов новых книг. Были также рассмотрены актуальные проблемы современной литературы.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ М. КВЛИВИДЗЕ

В МОСКВЕ в Государственном музее А. С. Пушкина состоялся творческий вечер известного грузинского поэта Михаила Квливидзе.

С большим интересом слушали собравшиеся стихотворения поэта в переводах А. Ахматовой, Е. Евтушенко, Д. Самойлова, Б. Окуджава, Б. Ахмадулиной, Н. Заболоцкого, свои переводы прочли Е. Николаевская и М. Синельников.

В заключение вечера М. Квливидзе рассказал о своем творчестве, путях и развитии грузинской литературы о ме-

сте, которое она занимает в многонациональной литературе нашей страны.

«СОЗВЕЗДИЕ»

ТАК называется книга, которую недавно выпустило в свет киевское издательство «Днипро». В нее вошли произведения молодых авторов братских республик нашей страны.

Творчество молодых грузинских литераторов представляют стихотворения Д. Беднидзе, Т. Бекишвили, Г. Одишария и Р. Смыра, отрывок из поэмы «Весы», А. Табатадзе и новелла Н. Шатаидзе «Старик и собака».

В книге также помещены репродукции картин Д. Мансашвили «Весна», В. Маргнани «Летние каникулы», Г. Агапшвили «Сбивание масла в Картли».

ПРЕМИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ГОДА

ПРЕЗИДИУМ Союза писателей Грузии подвел итоги прошедшего года и присудил премии лучшим произведениям.

Стихотворение «Юношеским шагом» Джансуга Чарквиани, опубликованное в газете «Ахалгазда комунисти», признано лучшим в 1978 году и

удостоено премии имени Галактиона Табидзе.

Определены и лучшие произведения года на современную тему в области поэзии, прозы, драматургии и критики.

Литературной премии удостоены: в поэзии — Ираклий Абашидзе за стихи, опубликованные в журнале «Мнатоби», и Морис Поцхишвили за стихи, напечатанные в журналах «Цискари», «Мнатоби» и газете «Литератури Сакартвело», в прозе — Джемал Топуридзе за рассказы, опубликованные в журнале «Цискари». Пьеса Мераба Элиозишвили «Везде, для всех» признана лучшим драматургическим произведением, отображаю-

щим современность. В области критики премии удостоены критические статьи Сапиров и Цаишвили.

ИЗДАНО В БОЛГАРИИ

БОЛГАРСКОЕ издательство «Христо Г. Данов» (Пловдив) выпустило в свет роман Н. Думбадзе «Белые флаги». В книге дана характеристика творчества видного грузинского писателя.

Читателей Болгарии ждет еще одна интересная встреча со значительным произведением современной грузинской литературы — историческим романом Г. Абашидзе «Лашарела», который недавно издан в этой стране.

АБЗИАНИДЗЕ Заза Георгиевич. Род. в 1940 г. Грузинский критик. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели. Автор исследования «Концепция человека в современной грузинской лирике» (1975 г.) и целого ряда статей, посвященных проблемам современного литературного процесса.

ГАБУНИЯ Георгий Шалвович. Род. в 1952 г. После окончания исторического факультета Тбилисского государственного университета, где получал стипендию им. И. Чавчавадзе, работает на кафедре истории КПСС и научного коммунизма Грузинского государственного института физической культуры. Автор статей о революционном движении учащейся молодежи Грузии, опубликован-

ных в журналах «Скола да цховреба», «Синатле», а также в трудах ГГИФК. В настоящее время заканчивает работу над кандидатской диссертацией на тему «Участие учащейся молодежи Грузии в революционном движении 1900—1917 гг.».

ФЕЙГИН Эммануил Абрамович. Род. в 1913 г. в г. Джанкое (Крым). В 1941—53 гг. — офицер Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. Первая книга — повесть «Черный пар» вышла в издательстве «Молодая Гвардия» (Москва) в 1932 году. Автор романов «Совершеннолетие», «Синее на желтом», повестей «Мзеона», «Земляки», «Обида Егора Грачева», «Бульдоги Лапшина», «Солдат, сын солдата», «Тбилиси, предвечернее небо» и др. Переводчик художественной прозы современных грузинских писателей.

„ლიტერატურული მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

ბანოღის 1957 წლის ივნისიდან. № 4 აპრილი 1979 წ.

Сдано в набор 5 марта 1979 г. Подписано к печати 9 апреля 1979 года. 5 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

2160-79

40 კოპ



ქართული
ნაციონალური
ბიბლიოთეკა

ИНДЕКС 76117